

ЮКИО  
МИСИМА

*Исповедь маски*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Роман знаменитого японского писателя Юкио Мисимы (1925–1970) «Исповедь маски», прославивший двадцатичетырехлетнего автора и принесший ему мировую известность, во многом автобиографичен. Ключевая тема этого знаменитого произведения – тема смерти, в которой герой повествования видит «подлинную цель жизни». Мисима скрупулезно исследует собственное душевное устройство, добираясь до самой сути своего «я»...

Перевод с японского Г. Чхартишвили (Б. Акунина).

---

---

- [Юкио Мисима](#)
    - 
    - 
    - [Глава первая](#)
    - [Глава вторая](#)
    - [Глава третья](#)
    - [Глава четвертая](#)
- 
-

# Юкио Мисима

## Исповедь маски

© Г. Чхартишвили, перевод, 1993

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

\* \* \*

*«...Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог загадал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я об этом много думал. Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай как знаешь и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота?.. А впрочем, что у кого болит, тот о том и говорит».*

*Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы*

# Глава первая

Я очень долго пытался доказать окружающим, что помню момент своего рождения. Взрослые всякий раз поначалу смеялись, а потом решали, что я над ними издеваюсь, и смотрели на бледного мальчика с совсем недетским лицом неодобрительно и укоризненно. Если это были какие-нибудь малознакомые люди, бабушка, боясь, что ее внука сочтут за идиота, резким голосом приказывала мне пойти куда-нибудь поиграть.

Все еще посмеиваясь, взрослые обычно пускались в какие-нибудь научные рассуждения. Стараясь выразаться попроще, чтобы ребенок понял, они понемногу распались. Младенец рождается с закрытыми глазами, говорили они. Но если даже и с открытыми, все равно его память не способна удержать увиденное. «Ну как, понял?» – спрашивали взрослые, похлопывая по плечу все еще сомневающегося ребенка. Тут они обычно спохватывались, вообразив, что попались на удочку маленького шутника. С детьми надо держать ухо востро. Чертенки наверняка подлавливают нас, чтобы спросить про «это самое». Сейчас пролепетать своим невинным голосом: «А откуда я родился? И почему?»

Поэтому в конце разговора взрослые всякий раз умолкали и смотрели на меня с какой-то непонятной оскорбленной улыбкой.

На самом деле их подозрения были совершенно безосновательны. Я вовсе не собирался расспрашивать их про «это». Да и потом, мне в голову бы не пришло расставлять взрослым какие-то ловушки – я слишком боялся вызвать их неудовольствие.

И все же, невзирая на все насмешки и разъяснения старших, я твердо знал, что помню миг своего рождения. Может быть, мне рассказал кто-то из присутствовавших при родах, а я потом об этом забыл? Или виной всему мое своевольное воображение? Как бы то ни было, одна картина так и стоит у меня перед глазами. Это край тазика, в котором купали новорожденного. Тазик был совсем новый, из отполированного свежего дерева; изнутри я видел, как на его бортике ослепительно вспыхнул луч света – яркий, золотой, и всего в одном месте. Лившаяся в тазик вода пыталась слизнуть этот золотой блик, но так и не сумела. Наоборот, вода вокруг меня, то ли отражая луч, то ли вобрав его, и сама заискрилась огоньками, по ней прошла мелкая сияющая рябь.

Самый сильный аргумент против подлинности этого воспоминания состоит в том, что я родился не днем, а в девять часов вечера. Так что никакого солнца в тот момент сиять не могло. Надо мной подшучивали, говоря, что это, наверное, был свет электричества, но я без труда отмахивался от соображений здравого смысла и по-прежнему оставался непоколебим: пусть это было хоть глубокой ночью, все равно край тазика вспыхнул золотым сиянием. И я был твердо уверен, что видел тот яркий луч не когда-нибудь, а именно сразу после своего рождения.

А родился я через два года после Великого землетрясения. За десять лет до этого события мой дед, губернатор одной из колоний, был вынужден подать в отставку: чтобы замаять один крупный скандал, он взял на себя вину своего подчиненного. (Я не приукрашиваю эту историю – в жизни не встречал человека, который с таким абсолютным, идиотским доверием относился бы к окружающим, как мой дед.) И с тех пор дела нашей семьи со стремительным, я бы даже сказал, каким-то залихватским ускорением покатались под гору. Чудовищные долги, опись имущества, продажа имения – чем хуже шли денежные дела семейства, тем болезненнее воспалялось тщеславие его членов, словно одержимых

некоей темной силой.

Вот почему на свет я появился в запущенном наемном особняке, расположенном в далеко не самом престижном районе столицы. Этот дом, с мрачными, закопченными стенами, стоял на склоне холма; с одной стороны в нем было два этажа, с другой – три. Вид он имел довольно заносчивый и нелепый: помпезные железные ворота, широкие газоны, гостиная размером с буддийский храм. В особняке было множество плохо освещенных комнат и целых шесть служанок. Всего под этим скрипучим, как старый сундук, кровом жили десять человек: дед, бабушка, мои родители и прислуга.

Причина злосчастий нашего семейства коренилась, с одной стороны, в неумном предпринимательском пыле деда, а с другой – в вечных болезнях и безрассудной расточительности бабушки. Дед то и дело увлекался какими-то сумасшедшими проектами, которые подсовывали ему всякие сомнительные приятели, и отправлялся за тридевять земель в погоне за золотым дождем. Бабушка, происходившая из старинного рода, относилась к своему супругу с ненавистью и презрением. Нрава она была неустойчивого, но душу имела поэтическую – с некоторым налетом безумия. Хроническая невралгия постепенно подтачивала ее нервную систему, одновременно придавая еще бóльшую остроту ее уму. Допускаю, что приступы депрессии, мучившие бабушку вплоть до самой смерти, были следствием тех страданий, которые доставлял ей дед своими похождениями в более молодые годы.

Вот в какой дом привел мой отец хрупкую и очаровательную невесту, мою будущую мать.

Утром 14 января 1925 года у нее начались схватки. А в девять часов вечера она разродилась хилым младенцем, весившим немногим более двух килограммов. На седьмой день ребенка нарядили в розовое фланелевое белье, шелковое кимоно с узорами, и дед в присутствии всех домочадцев торжественно написал мое имя на свитке, который поместил в семейный алтарь – токонома.

Волосы у меня долго оставались светло-золотистыми. Их натирали оливковым маслом до тех пор, пока они не почернели. Отец с матерью жили на втором этаже, и на сорок девятый день бабушка забрала меня у них, заявив, что таскать ребенка по лестнице вверх-вниз опасно. Таким образом, моя кроватка оказалась в вечно закупоренной комнате бабушки, где пахло старостью и болезнью. Там я и рос.

Когда мне был год, я упал с третьей ступеньки лестницы и расшиб себе лоб. Бабушка была в театре кабуки, и, радуясь свободе, мать с гостившими у нас двоюродными братьями и сестрами отца устроили шумное веселье. Когда мать пошла за чем-то на второй этаж, я побежал за ней следом, наступил на край ее кимоно и упал.

В театр срочно позвонили. Вернувшаяся бабушка остановилась в дверях, опираясь на палку, и пристально поглядела в лицо вышедшему ее встречать отцу. Потом медленно, чеканя каждый слог, спросила странно спокойным голосом:

– Он умер?

– Нет.

Тогда бабушка величественно и уверенно, словно жрица в храм, вошла в дом...

В новогоднее утро – мне тогда шел пятый год – я внезапно ощутил приступ тошноты, и меня вырвало чем-то кофейно-коричневым. Домашний доктор, осмотрев меня, заявил, что не ручается за мое выздоровление. Меня всего истыкали уколами камфары и глюкозы. Пульс

не прощупывался. Через пару часов собрались все домашние посмотреть на мое мертвое тело...

Сшили саван: принесли мои любимые игрушки, приехали родственники.

Еще через час я вдруг обмочился. Старший брат матери, сам доктор, воскликнул: «Он выживет!» Появление мочи означало, что сердце снова заработало. Вскоре я обмочился вновь. Щеки у меня постепенно порозовели от света возвращавшейся жизни.

Эта болезнь – она называлась «самоинтоксикация» – стала хронической. Раз в месяц она непременно навещала меня, то в легкой форме, то в тяжелой. Неоднократно случались опасные приступы. Со временем я научился различать по первым признакам приближающегося кризиса, близко он подведет меня к смерти или не очень.

Примерно к этому периоду относится мое первое, уже несомненное, воспоминание; его странная тень доставила мне немало страданий.

Я не помню, кто в тот день вел меня за руку – мать, няня, горничная или тетя. Не помню и время года. Предвечернее солнце неярко освещало дома на холме. Женщина – какая-то женщина – вела меня за руку вверх по улице, мы возвращались домой. Навстречу нам кто-то спускался, и моя провожатая, сильно потянув меня за ладонь, освободила проход. Мы остановились.

Эта картина бесчисленное количество раз воскресала в моей памяти, приобретая все новые и новые оттенки смысла, по мере того как я сосредоточенно размышлял над ней. Из всей сцены, мутной и размытой, мне совершенно ясно и отчетливо запомнилось лишь одно: этот кто-то, спускавшийся нам навстречу. Еще бы – ведь то было первое из видений, терзавших и преследовавших меня всю жизнь.

По улице спускался молодой парень. Через плечо он нес две деревянные бадьи для нечистот, голова его была обмотана грязным полотенцем, румяные щеки сияли свежестью, глаза ярко блестели. Парень ступал осторожно, чтобы не расплескать свой груз. Это был золотарь. Он был одет в облегающие синие штаны и матерчатые рабочие тапочки. Я, пятилетний, смотрел на незнакомца во все глаза. Тогда впервые я ощутил притяжение некоей силы, таинственный и мрачный зов – хотя, конечно, и не мог еще уяснить значение произошедшего. То, что сила эта в первый раз предстала передо мной в облике золотаря, весьма аллегорично. Ведь нечистоты – символ земли. Это сама мать-земля поманила меня своей недоброй любовью.

Меня охватило предощущение того, что в мире есть страсти, обжигающие не меньше огня. Я смотрел на золотаря снизу вверх и вдруг подумал: «Хочу быть таким, как он». И еще: «Хочу быть им». Отчетливо помню, что больше всего меня привлекли две вещи. Во-первых, синие в обтяжку штаны. И во-вторых, ремесло этого парня. Штаны плотно облегли его ноги и нижнюю часть туловища. Тело под ними жило и двигалось, приближаясь мне навстречу. Я ощутил прилив невыразимой любви к этим узким штанам – сам не понимая почему.

А что до его ремесла... В тот миг во мне родилось жгучее желание вырасти и стать золотарем. Я мечтал об этом с таким же пылом, как другие мальчишки мечтают сделаться великими полководцами. Отчасти причиной моего решения были синие штаны, но, конечно, не только они. Было и еще нечто, странным образом зревшее во мне по мере того, как усиливалось желание стать золотарем.

Я чувствовал в этом ремесле какую-то особую скорбь, именно к этой испепеляющей

скорби меня и влекло. Я очень осязаемо, даже чувственно ощущал *трагичность* работы золотаря. Мне мерещилось в ней и самоотвержение, и безразличие ко всему на свете, и родство с опасностью, и удивительная смесь тщетности жизни с жизненной силой. Все эти качества совершенно покорили пятилетнего мальчика. Наверное, я неправильно представлял себе ремесло золотаря. Скорее всего, мне рассказывали про какую-то совсем другую профессию, а я перенес услышанное на того парня, пораженный его нарядом. Другого объяснения быть не могло.

Поэтому неудивительно, что со временем мной овладели иные мечты. Сначала я хотел стать водителем «цветочного трамвая» (так назывались разукрашенные трамваи, ездившие по улицам в дни праздников), потом – контролером в метро. А все потому, что мне чудилось в их работе нечто «трагическое», нечто такое, о чем я не имел понятия, от чего я был навечно отстранен. Вот, например, контролер метро: разве не веяло ароматом трагедии от того, как дисгармонировала его синяя, украшенная золотыми пуговицами форма с резким запахом резины и мяты, которыми постоянно несло тогда из подземки? Я был просто уверен, что жизнь человека, вынужденного находиться среди такого запаха, непременно «трагична». Итак, у меня было собственное определение «трагического»: нечто, происходящее в недоступном мне месте, куда стремятся все мои чувства; там живут люди, никак со мной не связанные; происходят события, не имеющие ко мне ни малейшего отношения. Я отторгнут оттуда на вечные времена; и эта мысль наполняла меня грустью, которую в мечтах я приписывал и той, чужой, жизни, тем самым приближая ее к себе.

Мое детское увлечение «трагическим» было, наверное, предчувствием грядущего несчастья: мне предстояла жизнь одинокого изгнанника.

Вот еще одно из моих первых воспоминаний.

Я научился читать и писать в шесть лет. А ту книжку с картинками прочесть я еще не мог – значит, мне было лет пять.

Из всех многочисленных книжек, имевшихся в нашем доме, я полюбил только одну, да и в той всего лишь одну-единственную картинку. Когда я разглядывал ее, долгий и скучный день пролетал незаметно. Если же кто-то ко мне приближался, я чувствовал непонятный стыд и поспешно переворачивал страницу. Назойливая опека нянек и горничных выводила меня из себя. Мне хотелось рассматривать эту картинку с утра до вечера, день за днем, и так всю жизнь. Каждый раз, когда я раскрывал заветную книгу, мое сердце сжималось; но лишь одна страница действовала на меня подобным образом, остальные я проглядывал равнодушно.

На картинке была изображена Жанна д'Арк с поднятым мечом, верхом на белом коне. Конь свирепо раздувал ноздри и бил о землю мощным передним копытом. На серебряных доспехах Жанны д'Арк был какой-то красивый герб. Сквозь забрало виднелось прекрасное лицо – лицо серебряного рыцаря, который, занеся меч высоко-высоко, в синее небо, мчался навстречу смерти или, во всяком случае, навстречу чему-то злобному и опасному. Я был твердо убежден, что в следующий миг воин погибнет. Мне казалось: если очень быстро перевернуть страницу, то непременно увидишь картинку, на которой рыцарь лежит уже убитый. Кто их знает, эти книжки с картинками, – вдруг есть какая-то хитрость, позволяющая заглянуть в то, что случилось дальше...

Но однажды моя няня совершенно случайно открыла книгу именно на этом месте (я исподтишка наблюдал за ней) и спросила:

– А ты знаешь, кто тут изображен?

– Нет.

– Наверное, ты думаешь, это мужчина? А вот и нет, это женщина. Она переделалась в мужской наряд и отправилась воевать, чтобы спасти свою страну.

– Женщина?!

Я был сражен. Тот, кого я считал мужчиной, вдруг превратился в женщину. Во что же можно верить, если такой прекрасный рыцарь оказывается женщиной? (У меня и поныне вид женщины, переодетой в мужское платье, вызывает глубокое, необъяснимое отвращение.) Как долго и сладко мечтал я о гибели рыцаря, и вот такое жестокое разочарование! Это была первая месть реальности, испытанная мною в жизни.

Годы спустя я прочел у Оскара Уайльда строки, воспевавшие смерть прекрасного рыцаря:

Прекрасен рыцарь, что лежит, сраженный,  
Средь тростника и камыша...

А книгу про Жанну д'Арк после того случая я ни разу больше не раскрыл. Даже не прикасался к ней.

Гюисманс пишет в романе «Там, внизу» о Жиле де Ре, назначенном по приказу короля Карла VII телохранителем к Жанне д'Арк: этот человек, вскоре свершивший «самые утонченные преступления и изысканнейшие жестокости», сделался мистическим злодеем под воздействием невероятных чудес, которые сотворила его госпожа. На меня Орлеанская дева подействовала иначе (я испытывал к ней глубочайшую неприязнь), но и в моей жизни она сыграла немаловажную роль.

И еще одно воспоминание.

Это запах пота. Он подгоняет меня вперед, влечет, манит, я совершенно покорен им...

Я прислушиваюсь и слышу глухой, неясный звук, мерный и грозный гул. Потом трубит труба, доносится, постепенно приближаясь, простая и странно жалобная песня. Я тяну горничную за собой, тороплю – хочу, чтобы она отвела меня к воротам и подняла повыше.

Мимо нашего дома проходили солдаты, возвращавшиеся с учений. Военные любят малышей, и мне всякий раз доставались в подарок пустые патронные гильзы. Бабушка запрещала их брать, говорила, что это опасно, поэтому удовольствие еще и усугублялось чувством нарушения табу. Какого мальчишку не привлекает топот тяжелых сапог, вид грязных гимнастеров, лес винтовочных стволов?! Но меня манило не это, и даже гильзы были не главным – меня влек запах пота.

Солдатский пот, похожий на аромат прилива, золотистого морского воздуха, проникал в мои ноздри и пьянил меня. Наверное, это было первым запомнившимся обонятельным ощущением в моей жизни. Конечно, мое возбуждение еще не было эротическим, просто я страстно, неистово завидовал судьбе солдата – трагизму его ремесла, близости к смерти, тому, что он увидит дальние страны.

...Таковы были первые, и весьма необычные, картины и образы, запечатленные моей памятью. Они обладали совершенством и с самого начала жизни не покидали меня. В них

было все. Они стали источником, из которого в дальнейшем произошли и мое сознание, и все мои поступки.

С ранних лет мое отношение к человеческой жизни полностью совпадало с августинианским постулатом предопределенности. Несмотря на все бессмысленные, тщетные сомнения – а они продолжают терзать меня и поныне, – я ни разу не отклонился от своего детерминизма, почитая любые колебания за духовный соблазн. Можно сказать и так: мне вручили меню, в котором значился перечень всех моих бед, еще до того, как я научился читать. Оставалось лишь повязать салфетку и садиться за стол. Вот и странную эту книгу я, верно, пишу оттого, что так с самого начала обозначено в моем меню.

Детство – это сцена, на которой время и пространство переплетены. Мне, например, представлялись совершенно равнозначными и одинаково существенными и новости внешнего мира, о которых я слышал от взрослых, – извержение вулкана или какой-нибудь военный мятеж; и наши семейные происшествия – ссоры или приступы бабушкиной болезни; и вымышленные события, разворачивавшиеся в мире моих фантазий. Вселенная представлялась мне не более сложной, чем игрушечный дом из кубиков, и я сомневался, что пресловутое «общество», членом которого мне со временем предстояло стать, окажется увлекательнее и ярче мира моего воображения. Так, незаметно для меня самого, наметилась одна из детерминант моей жизни. Я боролся с ней всеми силами, и от этого мои разнообразные фантазии с самого начала обретали привкус отчаяния, до странности всепоглощающего, а потом похожего на пламенную страсть.

По ночам, лежа в постели, я видел, как во мраке возникает и разрастается некий сияющий город – город удивительно тихий, преисполненный света и загадочности. На лицах обитателей я видел печать тайны. Они возвращались по домам в полночь, в их словах и жестах я распознавал потайной язык, вроде того, каким пользуются масоны. В облике жителей моего города читалась такая ослепительная усталость, что смотреть на нее глазам было больно. Казалось: если мне удастся дотронуться до этих людей, на моих пальцах останется серебряная пыль, как от прикосновения к рождественской маске, и я тогда смогу понять, в какие цвета раскрашивает ночной город своих жителей.

Итак, ночь приоткрыла передо мной свой занавес. И я увидел сцену, где выступала знаменитая иллюзионистка той эпохи Тэнкацу Сёкёкусай. (Она как раз гастролировала тогда в Токио. Через несколько лет в том же самом театре я видел выступление иллюзиониста Данте, куда более сложное и грандиозное. Но ни оно, ни даже представление гамбургского Цирка Хагенбека на Международной выставке не произвело на меня подобного впечатления.)

Тэнкацу неторопливо прохаживалась по помосту; ее пышное тело было облачено в одеяние великой блудницы из Апокалипсиса. Держалась актриса с особой надменностью, присущей лишь фокусникам и аристократам-изгнанникам; от нее исходило какое-то печальное очарование, она казалась романтической героиней. И все это удивительным, меланхолическим образом гармонировало с вульгарным, фальшивым великолепием ее наряда, с кричащей косметикой, как у дешевой певички, с толстым слоем пудры, покрывавшей все ее тело до самых кончиков пальцев, с многочисленными браслетами, усыпанными поддельными самоцветами. Точнее говоря, изящный рисунок тени, отбрасываемой дисгармонией, рождал совершенно по-особому гармоничное сочетание.

Я смутно понимал, что мечта стать таким, как Тэнкацу, по самой своей сути отлична от

мечты стать водителем «цветочного трамвая». Главное различие состояло в том, что в ремесле иллюзионистки начисто отсутствовала «трагичность». Можно было хотеть превратиться в Тэнкацу и при этом не испытывать мучительного чувства, в котором влечение смешивалось со стыдом.

И вот однажды с отчаянно бьющимся сердцем я прокрался в комнату матери и открыл шкаф, где хранились ее наряды.

Я вынул самое роскошное и яркое кимоно, взял парчовый пояс с расписным узором из алых роз и обмотал его вокруг талии на манер турецкого паши. На голову я повязал крепдешинный платок. Когда я встал перед зеркалом и увидел, что этот импровизированный головной убор делает меня похожим на пирата из «Острова Сокровищ», я весь засветился от возбуждения. Однако до совершенства было еще далеко. Следовало всего себя, до кончиков ногтей, разукрасить так, чтобы свершилось таинственное перевоплощение. Я засунул за пояс ручное зеркальце и слегка припудрил лицо. Потом вооружился длинным серебристым фонариком, старомодной металлической авторучкой и разными другими сверкающими предметами, попавшимися мне на глаза.

И лишь после этого с самым торжественным видом ворвался к бабушке. Там, не в силах сдержать безумный восторг, я закружился по комнате, повторяя:

– Я – Тэнкацу! Я – Тэнкацу!

Кроме больной бабушки, там были мать, кто-то из гостей и сиделка, но я никого не видел. Меня возбуждало то, что на созданную моими руками Тэнкацу смотрят чужие глаза, и я собой любовался. Но внезапно взгляд мой упал на лицо матери – она сидела бледная и какая-то растерянная. Когда наши взгляды встретились, она отвела глаза.

И я понял. Я все понял и залился слезами.

Что же я понял в тот миг, или, вернее, что меня заставили понять? Наверное, впервые мне открылось то, что будет занимать так много места в более поздние годы моей жизни, – раскаяние в еще не совершенном преступлении. Или я извлек другой важный урок: сколь убогим и нелепым выглядит одиночество в глазах любви? И уяснил обратную сторону этого открытия: мне суждено вечно отвергать любовь?

Сиделка схватила меня за руку, утащила в соседнюю комнату и грубо, деловито содрала с меня наряд Тэнкацу – словно цыпленка ощипала.

Моя страсть к маскараду еще более усилилась, когда я познакомился с кинематографом. Это продолжалось лет до десяти.

Однажды я в сопровождении мальчика, прислуживавшего у нас в доме, отправился смотреть музыкальный фильм «Фра Дьяволо». Исполнитель главной роли носил камзол с кружевными манжетами, произведший на меня неизгладимое впечатление. Как мне хотелось обрядиться во что-нибудь подобное! Когда я сказал своему сопровождающему, что с удовольствием надел бы такой же пудренный парик, подросток презрительно засмеялся. А ведь я знал, что он иногда забавляет служанок, изображая перед ними княжну Яэгаки.

Вслед за фокусницей Тэнкацу моими думами завладела Клеопатра. Как-то в снежный зимний день, перед самым Новым годом, один друг нашей семьи, врач, после долгих упрасиваний с моей стороны взял меня с собой в кино.

Народу в зале по случаю приближающегося праздника было совсем мало. Мой спутник немедленно уснул, положив ноги на спинку переднего ряда. И я, совершенно зачарованный, остался наедине с Клеопатрой. Вот царица египетская въезжает в Рим; она сидит в

затейливом паланкине, который несут многочисленные рабы. Вот ее скорбные глаза, веки которых сплошь зачернены тушью. А ее не поддающиеся описанию одежды! И еще: ее полуобнаженное янтарное тело, когда Клеопатра поднимается с персидского ковра...

Я стал разыгрывать царицу египетскую тайком от взрослых (я уже отлично знал сладость запретного) перед младшими братом и сестрой. Чем так влекли меня эти женские одеяния, чего я от них ожидал? Много позднее я узнал, что той же страстью грешил порочный Гелиогабал, один из позднеримских императоров, монарх-декадент, ниспровергший древних богов Рима.

Вот я и рассказал о предвестиях моей грядущей жизни. Напомню: речь шла сначала о золотаре, Орлеанской деве и солдатском поте, а потом о Тэнкацу и Клеопатре.

Теперь я должен поведать еще об одном.

В детстве я обожал читать сказки и прочел их несметное количество, но должен сказать, что появляющиеся в них принцессы никогда мне не нравились. Мне нравились только принцы. Особенно те, которые погибали или были обречены на злую судьбу. Я вообще любил читать про юношей, которых в сказке убивают.

Я еще и сам не понимал, отчего это. Почему из всех сказок Андерсена самую глубокую тень в мою душу заронила одна – «Розовый эльф»? В ней злодей огромным ножом убивает прекрасного юношу в тот самый миг, когда тот целует розу, полученную в дар от своей возлюбленной. А потом злодей еще и отрубает несчастному голову... И из сказок Оскара Уайльда мне больше всего понравилась одна – «Рыбак и его душа», где волны выбрасывают на берег труп юного рыбака, сжимающего в мертвых объятиях русалку.

Разумеется, нравилось мне многое и из таких вещей, которые любят обычные дети. У Андерсена, например, я часто читал сказку «Соловей», с удовольствием рассматривал комиксы. Но сердце мое неудержимо тянулось туда, где царили Смерть, Ночь и Кровь.

Меня постоянно преследовали видения, в которых присутствовали «сраженные принцы». Объяснит ли мне кто-нибудь когда-нибудь, отчего образ юного принца в восхитительно облегающих лосинах, принца, обреченного на жестокую смерть, вызывал такой восторг в моей детской душе?

Я помню одну венгерскую сказку с замечательными цветными картинками, выполненными на удивление реалистично. Одна из них надолго завладела моим сердцем.

Там был принц, одетый в черные рейтузы, розовый кафтан с золотой вышивкой, синюю мантию с алым подбоем и опоясанный зеленым с золотым ремнем. Голову его венчал такой же золотисто-зеленый шлем, на боку висел ярко-красный меч, за спиной – зеленый кожаный колчан со стрелами. В левой, одетой в белую перчатку руке принц сжимал лук, а правой опирался о ствол могучего дерева. С величаво-меланхоличным выражением лица юноша смотрел вниз, прямо в пасть ужасного дракона, готового на него наброситься. В чертах принца читалась решимость встретить смерть. Если б ему суждено было выйти из схватки победителем, разве был бы я до такой степени заворожен этой картиной? К счастью, принц был обречен.

Но, увы, гибель его оказалась не окончательной. Для того чтобы спасти сестру и жениться на прекрасной волшебной принцессе, он должен был семь раз вынести испытание смертью. Но во рту у принца имелся заветный алмаз, благодаря которому он всякий раз воскресал и в конце концов добился своего счастья. На моей любимой картинке

изображалась его первая смерть – испытание пастью дракона. Потом принца схватит гигантский паук, который пронзит его тело отравленным жалом и «пожрет без остатка». Еще герою сказки предстояло утонуть, сгореть в огне, быть искусанным осами и змеями, свалиться в яму, «утыканную бесчисленными и острыми саблями», пасть под «дождем из огромных камней».

Гибель в пасти дракона описывалась весьма красочно и подробно: «Дракон тут же жадно впился в принца клыками. Разрываемому на мелкие кусочки юноше было невыносимо больно, но он терпел муку, пока чудовище не изжевало его целиком. Тут принц вдруг ожил, тело его срослось, и он выскочил из драконьей пасти! И не было на нем ни единой царапины. А дракон бухнулся оземь и издох».

Я прочел этот абзац раз сто, не меньше. Но предложение «И не было на нем ни единой царапины» казалось мне серьезной ошибкой, которую непременно следовало исправить. Автор допустил тут огромный промах, он меня предал – так я думал.

И в конце концов я сделал замечательное открытие: оказалось, что можно закрыть пальцами совсем небольшой кусочек текста, и сказка станет идеальной: «Дракон тут же жадно впился в принца клыками. Разрываемому на мелкие кусочки юноше было невыносимо больно, но он терпел муку, пока чудовище не изжевало его целиком. Тут принц вдруг... бухнулся оземь и издох».

Взрослому подобная цензура показалась бы абсурдом. Да и сам юный своенравный цензор отлично видел противоречие между тем, что чудовище изжевало принца целиком, и тем, что он потом «бухнулся оземь и издох», но не желал отказываться ни от первого, ни от второго.

Я часто с наслаждением воображал, как погибаю в бою или падаю, сраженный рукой убийцы. И в то же время я панически боялся смерти. Бывало, доведу горничную до слез своими капризами, а на следующее утро смотрю – она как ни в чем не бывало подает мне с улыбкой завтрак. Я видел в этой улыбке скрытую угрозу, дьявольскую гримасу уверенности в победе надо мной. И я убеждал себя, что горничная из мести замыслила меня отравить. Волны ужаса раздували мне грудь. Я не сомневался, что в пище отравы, и ни за что на свете не прикоснулся бы к ней. А после завтрака, вставая из-за стола, смотрел в лицо горничной с торжеством: что, мол, съела? Я воображал, что она глядит на остывший, невыпитый бульон вне себя от горя – ведь ее коварный замысел разгадан.

Бабушка запрещала мне играть с соседскими мальчишками, во-первых опасаясь за мое слабое здоровье, а во-вторых не желая, чтобы я учился у них всяким гадостям. Поэтому участницами моих игр были няньки, служанки да еще три жившие неподалеку девочки, специально отобранные бабушкой. Малейший шум – хлопанье дверьми, звук игрушечной трубы, громкая возня – немедленно вызывал у хозяйки дома невралгию в правой коленке, так что играть приходилось только в тихие девчоночьи игры. Посему я с большой охотой проводил время в одиночестве, читая, складывая кубики, рисуя или предаваясь фантазиям. Позднее, когда родились сестра и брат (которых, как меня, не отдали на попечение бабушки), отец позаботился о том, чтобы они росли свободно и привольно. Но я уже не завидовал их шумным забавам.

Другое дело, когда я попадал в гости к своим кузинам. Там от меня требовалось, чтобы я вел себя, «как положено мальчику». Помню один случай. Это было весной того года, когда я начал ходить в школу, мне шел седьмой год. Я гостил в доме своей двоюродной сестренки

– назовем ее Сугико. Моя тетка так расхваливала меня: какой я стал большой и взрослый, – что польщенная бабушка позволила мне попробовать блюдо, которое считалось для меня запретным. Страшась приступов моей самоинтоксикации, бабушка почему-то решила, что мне нельзя есть «рыбу с голубой чешуей». Поэтому мне всегда подавали камбалу, карпа либо палтуса, у которых мясо белого цвета. Картофель я получал только в виде жиденького пюре. Мне запрещалось есть соевые сладости – только тоненькие бисквиты, вафельки и галеты. На десерт я получал протертое яблоко и несколько долек мандарина. Вот почему первую в своей жизни «рыбу с голубой чешуей» (это был желтохвост) я ел с огромным удовольствием. Ее вкус казался мне чудесным, ибо в нем я ощущал сладость «взрослости»; но вместе с тем было и смутно тревожное, тяжелое чувство – я боялся становиться взрослым; мне и сейчас делается не по себе, когда я ем эту рыбу.

Сугико была крепким, жизнерадостным ребенком. Когда ночью меня укладывали спать к ней в комнату, моя кухня, едва коснувшись головой подушки, сразу же засыпала, словно отключалась. Я же, вечно мучившийся бессонницей, лежал и смотрел на нее со смесью легкой зависти и восхищения.

В гостях у Сугико мне предоставляли куда больше свободы, чем дома. Здесь не было воображаемых соперников, только и думающих, как отобрать меня у бабушки (то есть моих родителей), поэтому она со спокойной душой позволяла мне резвиться на воле. Дома же я постоянно был обязан находиться в поле ее зрения.

Но на время обретаемая свобода не приносила мне радости. Я чувствовал себя как человек, поднявшийся с постели после тяжелой болезни: все его движения скованны и неуверенны, он делает их словно по обязанности. Куда с большим удовольствием выздоравливающий улегся бы обратно в кровать. И потом, в доме Сугико считалось само собой разумеющимся, что я буду вести себя как самый нормальный мальчишка. И я начинал играть роль «нормального мальчишки», к которой мое сердце вовсе не лежало. Примерно тогда я понял одну вещь: когда я являю окружающим свою подлинную суть, они почитают это лицедейством; когда же я разыгрываю перед ними спектакль, люди считают, что я веду себя естественно.

Именно роль «нормального мальчишки» заставила меня предложить Сугико и еще одной нашей кухне: «Давайте играть в войну!» Вообще-то, для девочек игра была не самая подходящая, и обе амазонки отнеслись к моей идее без особого энтузиазма. Должен сказать, что игру в войну я затеял из-за превратного представления о том, каким должен быть «нормальный мальчишка»: гонять девчонок и не давать им спуску.

И вот в доме и во дворе началась скучная, никому из участников не интересная игра в войну. Сугико засела в кустах и изображала пулемет: «Та-та-та-та». Я решил, что пора положить этому занудству конец, и кинулся обратно в дом. Пулеметчица побежала за мной, не прекращая «стрелять». Тогда я схватился за грудь и рухнул на пол.

– Ты чего? – испугались кухни.

Не двигаясь и не открывая глаз, я ответил:

– Я убит в бою.

Как приятно это было – представлять себя лежащим навзничь. Невыразимый восторг охватил меня от одной фантазии, будто я застрелен и умираю. Я подумал, что случись со мной такое, я бы, наверное, даже боли не чувствовал...

Детство, детство...

Мне вспоминается образ, который можно назвать символом тех лет. Он олицетворяет для меня сегодня все мое детство. Именно в тот миг оно, готовое меня покинуть, прощально взмахнуло рукой. У меня тогда возникло странное ощущение: будто мой внутренний отсчет времени прекратился, время хлынуло волной и вдруг замерло перед этой картиной, вбирая в себя людей, движения, звуки; когда точная копия будет составлена, оригинал растворится в глубинах времени, а мне на память останется портрет, точный макет моего детства. У каждого, наверное, хранится в памяти какое-нибудь событие, ставшее символом ранних лет жизни. Только в большинстве случаев воспоминание это бывает нечетким, как бы смазанным, его и событием-то не назовешь.

А случилось вот что. Однажды, во время летнего праздника, в ворота нашего дома снежной лавиной ворвалась шумная церемониальная процессия.

Бабушка попросила организаторов, чтобы ради старухи с больными ногами и ее маленького внука праздничное шествие прошло по нашей улице и завершило к нам во двор. Обычно процессия следовала другим путем, но каждый год этот маршрут немного менялся, так что старейшина праздника согласился, а потом шествие мимо нашего дома постепенно вошло в традицию.

Все домашние, и я в том числе, стояли во дворе. Витые железные ворота были широко распахнуты, свежeweымытые каменные плиты мостовой сияли чистотой. Неровный гул барабанов понемногу приближался.

Вскоре послышалось и пение; размеренное и заунывное, оно прорывалось сквозь крики и шум; я мог разобрать лишь отдельные слова, но песня явно заключала в себе главный смысл всего этого суетного и хаотического действия. Песня прославляла вульгарность единения человека с вечностью и еще ту грусть, которую несет в себе это единение, достигаемое смешением набожности и распущенности. Слились воедино все звуки: звон медных колец на церемониальном шесте священника, глухой рокот барабанов, вопли парней, тащивших носилки с алтарем. Сердце мое колотилось так сильно, что я едва мог дышать. (С тех пор радостное нетерпение для меня не столько сладостно, сколько мучительно.) Священник, несший церемониальный шест, был в маске лиса-оборотня. Золотые глаза этого мистического зверя смотрели прямо на меня, их взгляд завораживал. Я схватился за рукав кого-то из домашних и вдруг ощутил, что в ликовании, которое вызывает во мне все это зрелище, есть нечто почти пугающее. Я уже готов был бежать оттуда. Именно тогда сформировалось мое отношение к жизни: когда я слишком страстно чего-то жду, когда мое воображение заранее разукрашивает грядущее событие сверх всякой меры, в конце концов получается вечно одно и то же: наступает долгожданный миг – и я убегаю прочь.

Мимо пронесли оплетенный соломенными веревками сундук для пожертвований; толпа ребятишек, весело толкаясь, протащила детский алтарь; и вот показался главный алтарь, величественный черно-золотой о-микоси. Я еще издалека увидел золотого феникса, венчавшего алтарь; священная птица ослепительно вспыхивала, как бы покачиваясь на людских волнах, и мою душу охватило какое-то странное беспокойство. Вокруг алтаря воздух сгустился, там царило ядовитое тропическое безветрие. Ленивым, жарким, порочным облаком клубилось оно над голыми плечами молодых носильщиков. А внутри о-микоси, за мишурой красно-белых шнуров, перилец, блестевших черным лаком и позолотой, за плотно закрытой золоченой дверцей, таился куб крошечной тьмы; в такт движениям толпы этот прямоугольный кусок ночной пустоты покачивался вправо, влево, вверх, вниз, безраздельно властвуя над безоблачным летним полднем.

Алтарь приблизился к нам. Тащившие его парни были одеты в одинаковые цветные куртки, запахнутые на их голых телах; носильщики двигались так беспорядочно, что казалось, будто о-микоси напился пьян. Ноги парней заплетались, глаза словно бы и не смотрели ни на что земное. Один, с веером распорядителя в руке, бегал вокруг носильщиков и подбадривал их зычными криками. Временами алтарь угрожающе накренивался, и тогда все тонуло в едином оглушительном вопле толпы.

Тут кто-то из домашних, наверное, забеспокоился: не двинется ли под воздействием некоего порыва вся эта дикая толча в нашу сторону. Кто-то крикнул: «Осторожно!» Меня вдруг дернул за руку тот взрослый, за кого я держался, и куда-то потащил. Мы бегом промчались через двор, взбежали на второй этаж, и то, что было дальше, я видел уже с балкона. Затаив дыхание, я смотрел, как толпа со своим черным алтарем беснуется перед нашим домом.

Я долго размышлял потом, стараясь понять: что за сила управляла этими людьми? Но все-таки не понял, почему несколько десятков горланящих парней вдруг разом, будто подчиняясь единой воле, ринулись в наши ворота.

Толпа с упоением растоптала все, что росло в саду. Скучный, давно надоевший мне двор совершенно преобразился. После пьяных метаний алтаря из стороны в сторону там не уцелело ни одного кустика. Я так и не проникся смыслом случившегося. На празднике самые разнообразные звуки временами как бы поглощали друг друга, и мне казалось, что в наш дом поочередно заглядывали то застывшее безмолвие, то бессмысленный грохот. Точно так же запечатлелись в моей памяти и цвета: золотой, алый, лиловый, зеленый, желтый, синий, белый перемешались, слились воедино, и в этой гамме господствовали то золотые тона, то синие.

Но ярче всего мне запомнились не звуки и не цвета, а нечто совсем другое, повергшее меня в ужас и перевернувшее всю мою душу. То были лица носильщиков алтаря – на них застыла маска такого неистового, развратного опьянения жизнью!..

## Глава вторая

Мне было двенадцать лет, и я вот уже целый год страдал, как страдает ребенок, которому досталась удивительная и непонятная игрушка.

Игрушка эта иногда вдруг набухала и всем своим видом намекала, что если научиться с ней обращаться, возможны какие-то очень интересные игры. Но инструкции к ней не было, и всякий раз, когда игрушка выказывала желание вовлечь меня в свои забавы, я терялся. Иногда от унижения и нетерпения мне хотелось ее разломать. Но в конце концов я уступал этой своенравной мучительнице, в чьем облике таилась какая-то сладкая тайна, и просто пассивно наблюдал – что будет дальше.

Со временем я стал прислушиваться к игрушке более спокойно, желая понять, куда она меня зовет. И тогда я обнаружил, что у нее есть свои определенные склонности, свое внутреннее устройство. Склонности эти постепенно выстраивались в единую цепочку: детские фантазии; загорелые тела юношей на пляже; пловец, которого я видел в бассейне; смуглый жених одной из моих кузин; мужественные герои приключенческих романов. Прежде я заблуждался, полагая, что мое влечение к подобным вещам имеет чисто поэтическую природу.

Кроме того, моя игрушка поднимала голову каждый раз, когда я представлял себе смерть, кровь и мускулистое тело. У паренька, прислуживавшего в нашем доме, я тайком брал иллюстрированные журналы, на красочных обложках которых были изображены кровавые поединки, молодые самураи, делающие харакири, и солдаты, падающие на бегу, прижав ладони к окровавленной груди. Встречались в журналах и фотографии молодых борцов сумо – неименитых и еще не успевших заплыть жиром... При виде подобных картинок игрушка немедленно оживлялась, проявляя все признаки любопытства. Возможно, точнее было бы назвать это не «любопытством», а «любовью» или, скажем, «требовательностью».

Когда связь этих событий стала мне ясна, я начал стремиться к наслаждению уже сознательно, намеренно. Возникла система отбора и подготовки. Если мне казалось, что картинка в журнале недостаточно красочна или выразительна, я брал цветные карандаши, перерисовывал ее на лист бумаги, а дальше уже подправлял как хотел. Так появились рисунки цирковых атлетов, корчащихся от удара штыком в грудь, и разбившихся канатоходцев с расколотым черепом и залитым кровью лицом. Свои «жестокие картинки» я прятал в самом дальнем углу книжного шкафа и, помню, иногда, сидя в школе на уроке, переставал слышать учителя и замирал от ужаса при одной мысли, что кто-то из домашних найдет мой тайник. Однако уничтожить их не решался – слишком уж привязалась к ним моя игрушка.

Так и жил я со своей капризной игрушкой день за днем, месяц за месяцем, не имея представления не то что о главном предназначении этого инструмента, но даже о вспомогательной его функции, которую со временем я стал называть своей «дурной привычкой».

А в жизни нашей семьи тем временем происходили перемены. Мы оставили особняк, в котором я появился на свет, и теперь семейство, разделившись пополам, проживало в двух домах, расположенных неподалеку друг от друга. В одном жили бабушка, дедушка и я, во

втором – мои родители, брат и сестра. Отец уехал в служебную командировку за границу, побывал в разных европейских странах, потом вернулся обратно. Вскоре после этого они с матерью опять переехали на новое место. Воспользовавшись поводом, отец наконец-то потребовал, чтобы меня вернули родителям. Произошло расставание с бабушкой (отец назвал эту сцену «современной трагедией»), и я оказался в родительском доме. Теперь до особняка, где жили бабушка и дедушка, путь был не очень близким: несколько остановок на электричке, а потом еще и на трамвае. Осиротевшая бабушка день и ночь рыдала, сжимая в руках мою фотокарточку. Я был обязан раз в неделю ночевать у нее в доме, и, если мой визит почему-либо срывался, с ней происходил припадок. Так в двенадцать лет я обзавелся страстной шестидесятилетней возлюбленной.

Вскоре отец был переведен работать в Осаку, куда уехал один, без семьи.

Однажды из-за простуды я не пошел в гимназию и сидел у отца в кабинете, с интересом рассматривая альбомы, привезенные из-за границы. В особенности меня покорили греческие скульптуры из итальянских музеев. Эти черно-белые фотографии волновали меня больше, чем прочие репродукции обнаженной натуры. Скорее всего, объяснялось это очень просто: скульптуры выглядели более живыми.

В тот день я впервые держал в руках нечто подобное. Отчасти это объяснялось тем, что отец, вечный скупердяй, спрятал дорогие альбомы подальше, чтобы дети не хватали их грязными руками (еще он не хотел, чтобы я разглядывал там голых женщин, – о, какое заблуждение!); да потом, я и сам не очень интересовался живописью, не ожидая от нее такого наслаждения, какое доставляли мне иллюстрированные журналы.

Итак, я сидел и перелистывал справа налево страницы альбома, их оставалось уже совсем немного. И вдруг взору моему открылся образ, созданный специально для меня и давно меня дожидавшийся.

Это была репродукция «Святого Себастьяна» кисти Гвидо Рени, из картинной галереи геновского палаццо Россо.

Святой Себастьян был привязан к черному кривому стволу дерева; за его спиной виднелся по-тициановски мрачный фон: темный лес, вечернее небо, тусклый ландшафт. Обнаженное тело божественно прекрасного юноши было прижато к дереву, но, кроме веревок, стягивавших высоко поднятые руки, других пут видно не было. Бедрa святого Себастьяна прикрывал кусок грубой белой ткани.

Я догадался, что это какой-то христианский мученик. Однако в творении Гвидо Рени, мастера позднего Ренессанса и последователя эклектизма, даже чисто христианский сюжет обрел аромат язычества. Тело Себастьяна, не уступавшего красотой самому Антиною, прекрасно; на нем не видны следы истязаний, как у других святых, над ним не властна старость. Оно излучает лишь сияние молодости, красоты и наслаждения.

Это ослепительно-белое тело, оттененное мрачным, размытым фоном, светоносно. Мускулистые руки преторианца, привыкшие владеть луком и мечом, грубо заломлены над головой; запястья их стянуты веревкой. Лицо поднято вверх, широко раскрытые глаза созерцают свет небесный, взгляд их ясен и спокоен. В напряженной груди, тугом животе, слегка вывернутых бедрах – не конвульсия физического страдания, а меланхолический экстаз, словно от звуков музыки. Если б не стрелы, впившиеся одна слева, под мышку, другая справа, в бок, можно было бы подумать, что этот римский атлет отдыхает в саду, прислонившись спиной к дереву.

Но стрелы глубоко вонзились в его напряженную, юную, благоуханную плоть, обожгли

ее пламенем невыносимой муки и невыразимого наслаждения. Нет потоков крови, как на других картинах с изображением святого Себастьяна, да и стрелы всего две; их мирные грациозные тени легли на мрамор кожи мученика, словно тени ветвей на ступени античной лестницы.

Естественно, все эти мысли и наблюдения относятся к более позднему времени. Когда же я увидел картину впервые, всего меня охватило просто какое-то языческое ликование. Кровь закипела в жилах, и мой орган распрявился, будто охваченный гневом. Казалось, он вот-вот лопнет от чрезмерной раздутости; на сей раз он настойчиво требовал от меня каких-то действий, клял хозяина за невежество и возмущенно задыхался. И моя рука неловко, неумело задвигалась. Тут из самых глубин моего тела стремительно поднялась некая темная, сверкающая волна. И не успел я прислушаться к новому ощущению, как волна эта разлетелась брызгами, ослепив и опьянив меня...

Немного придя в себя, я с испугом огляделся по сторонам. За окном шелестел клен, пятна света и тени от его листвы покрывали весь письменный стол: учебники, словари, альбомы, тетради, чернильницы. И повсюду – на золотом тиснении книжного корешка, на обложке словаря, на стенке чернильницы – лежали белые мутные капли. Одни лениво и тяжело стекали книзу, другие тускло поблескивали, как глаза мертвых рыб. К счастью, альбом я успел прикрыть ладонью – чисто инстинктивно – и репродукция не запачкалась.

Это была моя первая эякуляция, а заодно и первый опыт, случайный и неуклюжий, моей «дурной привычки».

Магнус Хиршфельд помещает изображения святого Себастьяна на первое место среди всех произведений скульптуры и живописи, пользующихся особым расположением гомосексуалистов. Это очень интересное наблюдение. Оно свидетельствует о том, что в большинстве случаев у гомосексуалистов, в особенности прирожденных, склонность к однополой любви сочетается и замысловатым образом переплетается с садистскими импульсами.

Согласно преданию, святой Себастьян родился в середине III века, стал трибуном преторианской гвардии и отдал жизнь за христианскую веру, не дожив и до тридцати лет. В год его гибели (288 г. христианской эры) правил император Диоклетиан. Этот монарх выдвинулся наверх из самых низов, добился всего собственными руками и слыл человеком нежестоким, но его соправитель Максимилиан отличался лютой ненавистью к новой вере. Известно, что он повелел казнить юного африканца Максимилиануса, отказавшегося исполнять обязанности солдата, ибо они противоречили христианскому пацифизму. Точно так же умертвил он центуриона Марцеллуса, упорствовавшего в верности Христу. Вот при каких обстоятельствах встретил свою мученическую кончину святой Себастьян.

Когда стало известно, что трибун преторианцев втайне исповедует запрещенное вероучение, посещает заточенных в темницы христиан и склоняет к своей религии римлян, включая самого римского градоправителя, Диоклетиан велел предать смутьяна смерти. Утыканное стрелами, брошенное палачами тело забрала одна благочестивая вдова, дабы предать прах убиенного земле. Тут обнаружилось, что в праведнике еще теплится жизнь. Вдове удалось выводить Себастьяна, но, едва встав на ноги, он снова бросил вызов императору и его языческим богам, после чего был забит до смерти палками.

Историю о воскрешении Себастьяна после расстрела, конечно же, следует отнести к категории «чудес». Разве может человек, пронзенный таким количеством стрел, остаться в

живых?

Для того чтобы читатель лучше понял, сколь неистово чувственная радость овладевала мною при мысли о святом Себастьяне, приведу здесь неоконченное произведение в прозе, которое я написал несколько лет спустя.

## *Святой Себастьян*

### *Поэма в прозе*

Однажды я сидел в классе и смотрел, как за окном ветер гнет и никак не согнет невысокое деревце клена. У меня защемило сердце – столь поразительно прекрасен был тот клен. Узким треугольником с закругленной вершиной высился он над травой, его симметричные ветви, отягощенные своим зеленым грузом, напоминали свечи канделябра, а сквозь листву проглядывал эбеновый пьедестал несокрушимого ствола. Так стоял клен, утонченный, но не утративший изысканной безыскусности, что свойственна живой природе; он хранил светлое молчание, как если б разом был собственным творцом и творением. И все же клен был вещью сотворенной, произведением искусства. Быть может, музыки. Пьесой для камерного исполнения, сочиненной каким-нибудь великим немецким композитором. То была тихая, исполненная глубокого религиозного чувства мелодия – звук божественный и небесный, напоминающий своей трогательной суровостью старинный гобелен...

И в сходстве клена с музыкальной пьесой увидел я особый смысл; форма и звук, соединившись, нанесли по моей душе двойной удар. И тогда мной овладело восхитительное чувство – нет, отнюдь не лирического свойства, а скорее близкое сумеречному экстазу, охватывающему душу, когда религия и музыка сливаются воедино. И я спросил свое сердце: «Уж не то ли самое дерево видишь ты перед собой? Дерево, к которому были привязаны руки юного святого. Дерево, по коре которого струями дождя стекала священная кровь мученика. Римское дерево, к которому в предсмертных страданиях прижималось молодое тело, как бы прощаясь со всеми терзаниями и наслаждениями земной жизни».

Жизнеописание святых великомучеников повествует, что в те годы, когда на римском престоле воцарился Диоклетиан, возжаждавший власти столь беспредельной, сколь беспределен полет птицы в синем небе, служил в императорской гвардии молодой трибун, телесной красотой не уступавший легендарному рабу, коего так возлюбил порфириносный Адриан. Глаза трибуна своей непроницаемостью могли сравниться с морской пучиной. А служил он гонимому Богу, и за это преступление его схватили.

Юноша был прекрасен и надменен. Каждое утро девушки города прикрепляли к его шлему белую лилию, и, когда во время краткого перерыва между воинскими упражнениями он отдыхал, стебель цветка грациозно льнул к его мужественному челу, похожий на шею белоснежного лебедя.

Никто не знал, где родился и вырос этот юноша. Но чутье подсказывало

людям, что он, обладающий телом раба и ликом принца, не долго пробудет среди них. Юноша казался им Эндимионом, кочующим по свету со своим стадом, ибо он избран, дабы найти самое зеленое на свете пастбище.

А некоторые девушки верили, что он явился из глубин моря. И действительно, дыхание его мощной груди напоминало шум волн. И в глазах его мистическим образом навек запечатлелась бескрайняя линия горизонта, как у каждого, кто родился и жил на море. Дыхание воина было горячее летнего пассата и источало терпкий аромат выброшенных на берег водорослей.

Разве не была подобная красота обречена на скорую гибель? Пышнотелые женщины Рима, чья чувственность выросла на крепком, сладком вине и мясе с кровью, первыми учуяли привкус злого рока, нависшего над Себастьяном (так звали молодого трибуна), когда он и сам еще не догадывался об уготованной ему судьбе. Уж не потому ли и домогались римлянки с такой страстью его любви? Алая кровь под белой кожей Себастьяна мчалась по жилам с утроенной силой и быстротой, словно искала и не могла найти отверстия, из которого ей предстояло брызнуть, когда прекрасная плоть будет истерзана. И женщины безошибочным чутьем слышали бег этой неистовой крови.

Тяготевший над Себастьяном рок не вызывал жалости. О нет, ничего пробуждающего сострадание в трибуне не было! Была гордость, была трагедия. И еще – нечто сияющее.

Кто знает, сколько раз в момент сладчайших лобзаний на чело Себастьяна ложилась тень грядущих смертных мук?

Он, верно, и сам если не сознавал, то смутно догадывался, что перед ним лишь один путь – принять мученичество за веру. Именно эта страшная печать судьбы выделяла его из низменной толпы.

И вот настало то утро. На рассвете Себастьян отбросил одеяло и рывком поднялся с ложа – его ожидали обычные заботы солдатской службы. Перед мысленным взором трибуна еще витало ночное видение: стая недобрых птиц сорок опустилась ему на грудь и прикрыла его рот своими трепещущими крыльями. Но грубая постель, на которой спал Себастьян, источала аромат высушенных водорослей, словно маня обещанием иных, более приятных снов о морских просторах. Воин облачился в скрипучие доспехи, встав у окна, рассеянно глядя куда-то вверх, за окруженный рощей храм. Там, в светлеющем небе, угасало созвездие, именуемое Маззарос. Потом глаза трибуна остановились на великолепном силуэте языческого капища, и в них отразилось бескрайнее, почти страдальческое презрение – выражение, столь шедшее этому лицу. Себастьян призвал Бога Единственного и едва слышно прошептал слова молитвы. Тихие эти звуки были подхвачены, тысячекратно усилены, и от языческого храма с его колоннадой, расчертившей звездное небо, явственно донесся глухой стон. Нет, не стон, а могучий гул, словно со звездоносного небосвода обрушилась некая таинственная лавина. Юноша улыбнулся. Взгляд его устремился ниже, и он увидел, как в лучах занимающегося дня к его дому робко приближается стайка девушек для тайного ежеутреннего моления. Каждая держала в руке еще не раскрывшуюся после ночного сна белую лилию...

Зима. Я учусь во втором классе гимназии средней ступени. Все мы, гимназисты, уже давно привыкли к длинным брюкам, привыкли обращаться друг к другу попросту, на «ты». (В начальных классах учителя требовали, чтобы мы величали соучеников «господин такой-то» и даже в летнюю жару носили гольфы до колен. Помню, какое это было счастье – перейти с коротких штанишек на брюки и больше не возиться с тугими и неудобными гольфами.) Привыкли мы и ко многим другим удовольствиям гимназической жизни: издеваться над преподавателями, поочередно устраивать товарищам угощение в буфете, к шумным играм в соседней роще (она по этому случаю переименовывалась в «джунгли»), к веселому пансионному существованию. Из всех этих прелестей мне была незнакома только последняя. Несмотря на то что каждому гимназисту средней ступени полагалось год, а то и два прожить в пансионе, чрезмерно заботливые родители, ссылаясь на мое слабое здоровье, добились для меня исключения. На самом деле, полагаю, им просто хотелось оградить меня от «дурного влияния».

Таких, как я, ходивших на уроки из дому, было всего несколько. В последнем семестре нашего полку прибыло – появился еще один вольнопосещающий, которого звали Оми. Его выгнали из пансиона за какие-то безобразия. До того момента я не обращал на Оми особенного внимания, а тут, когда на него легло клеймо «хулигана», я вдруг почувствовал, что он мне необыкновенно интересен, прямо глаз от него не могу отвести.

Однажды ко мне, пыхтя и сияя счастливой улыбкой, подбежал мой приятель, мальчик толстый и добродушный. Он всегда необычайно оживлялся, если узнавал какой-нибудь любопытный секрет.

– А что я знаю! – выпалил он.

Я немедленно покинул уютное место возле теплой батареи и отвел толстяка в коридор. Мы встали около окна, из которого была видна площадка для стрельбы из лука, продуваемая всеми ветрами. У этого подоконника чаще всего и происходили самые интимные наши беседы.

– А Оми-то...

Тут мой приятель смешался и густо покраснел. Он вообще был очень смешной – помню знаменитую фразу, сказанную им в пятом классе начальной школы, когда разговор зашел об «этом самом». «Уверяю вас, – заявил он. – Все это полная чушь, и ничего такого на свете не бывает. Уж я-то знаю». В другой раз, когда отца одного нашего соученика разбил паралич, толстяк посоветовал мне держаться от этого мальчика подальше, чтобы не заразиться.

– Ну, чего ты – язык проглотил? – поторопил я его. – Что Оми?

Дома меня заставляли разговаривать вежливо и безо всяких «словечек». Зато уж в гимназии я отводил душу.

– Я точно узнал. У этого Оми... *было!* – выдохнул приятель.

Это известие походило на правду. Оми сидел в классе не то второй, не то третий год, был старше всех нас, более развитым физически, и лицо его светилось какой-то особенной юношеской силой, что тоже отличало Оми от одноклассников. Держался он всегда заносчиво и насмешливо. Все на свете вызывало у него только одно чувство – презрение. Оми презирал отличников за то, что они отличники; учителей за то, что они учителя; полицейских за то, что они полицейские; студентов за то, что они студенты; служащих за то, что они служащие.

– Неужели? – ахнул я.

Мне почему-то вспомнилось, как на занятиях по военному делу Оми ловко управлялся с

разборкой и чисткой винтовки. Из всех преподавателей его любили только учитель гимнастики и военный инструктор – Оми так лихо командовал своим взводом.

– А ты думал! – осклабившись так хорошо знакомой всякому гимназисту непристойной улыбочкой, хихикнул толстяк. – Вот почему у него эта штука такая здоровенная. Не веришь? Можешь сам убедиться. Вот будем в «похабника» играть – цапни его.

«Похабником» называлась традиционная забава, пользовавшаяся огромной популярностью у первых и вторых классов средней ступени. Это повальное увлечение больше походило не на игру, а на какую-то заразную болезнь.

Выглядела она таким образом. Где-нибудь на перемене, когда кругом было полно народа, надо было выследить какого-нибудь зазевавшегося растяпу, молниеносно подскочить к нему и ухватить за определенное место. Если номер удавался, озорник отскакивал на безопасное расстояние и начинал вопить:

– Ого-го! Ну у тебя и штуковина!

Я уж не знаю, каковы были истинные мотивы участников этой игры, но считалось, что вид приятеля, испуганно ронявшего на пол тетради и учебники и хватавшегося обеими руками за причинное место, необычайно забавен. Однако, скорее всего, с помощью оглушительного хохота гимназисты пытались избавиться от стыда, тайно терзавшего каждого из них. Глядя на залившегося краской товарища и покатываясь со смеху, они испытывали облегчение, ибо могли безнаказанно поглумиться над собственным чувством стыда.

Всякий, кто становился жертвой подобного нападения, почему-то непременно кричал с возмущением:

– Ах ты, похабник!

И хор голосов радостно подхватывал:

– Ах он, похабник! Ах он, похабник!

Оми был признанным мастером этой игры. Атаки его были стремительны и почти всегда успешны. Я даже подозревал, уж не мечтают ли жертвы втайне подвергнуться нападению Оми. Вокруг него постоянно кружили «мстители», но у них ничего не выходило: Оми всегда держал одну руку в кармане и при покушении немедленно прикрывался двойным щитом: одной ладонью – в кармане, изнутри, другой – снаружи.

Сообщение толстяка посеяло в моей душе некие семена, проросшие ядовитой травой. До той поры я играл в «похабника» безо всякой задней мысли, как и многие прочие. Но поразительная весть привела к тому, что и в моем мозгу пресловутая «дурная привычка», которую я подсознательно выделял в особую сферу – это была моя, и только моя жизнь, – вдруг соединилась с игрой в «похабника», то есть с жизнью общественной, которую я делил с другими. Вот почему слова «цапни его» проникли мне в самую душу и наполнились смыслом, недоступным пониманию ни толстяка, ни прочих моих наивных товарищей.

С этого дня я не участвовал больше в любимой гимназической игре. Мне страшно было представить себе, как я стану нападать на Оми, и многократно страшнее вообразить, как Оми бросится на меня. Как только возникала опасность очередной игры в «похабника» (а этот порыв рождался внезапно, безо всякого видимого повода, как бунт или мятеж), я поспешно отходил в сторону и смотрел на Оми немигающим взглядом...

Мы все находились под чарами Оми, хоть сами об этом не догадывались.

Взять историю с носками. В ту эпоху господствовала доктрина военизированного образования, не обошедшая стороной и нашу гимназию. В большом ходу был завет генерала

Эноки молодому поколению: «Простота и мужество», а посему школьное начальство запрещало нам носить яркие шарфы и носки. Шарф вообще считался нежелательным предметом одежды; рубашка полагалась непременно белая, а носки черные или, на худой конец, темные. Один лишь Оми щеголял в белоснежном шелковом шарфе и пестрых, разноцветных носках.

Этот первый нарушитель табу превосходно умел придавать своим проступкам вид бунтарства. Он рано понял, что мальчишки весьма падки на прелести этого красивого слова. Оми в присутствии своего приятеля, нашего военного инструктора (этот унтер из деревенских ходил у него чуть ли не в оруженосцах), намеренно неторопливо обматывал вокруг шеи белый шарф и поднимал воротник усыпанной золотыми пуговицами шинели на манер Наполеона.

Как известно, толпа в своем бунтарстве лишь бездумно следует чьему-то примеру. А посему мы, остальные, стремясь вкусить запретный плод мятежничества, но при этом по возможности избежать расплаты, дальше вольностей с носками так и не пошли. Я не был исключением.

По утрам, перед началом занятий, мы обычно сидели верхом на партах и болтали о том о сем. Тот, кто в этот день набрался смелости явиться в гимназию в фривольных носках с каким-нибудь невиданным узором, садился на парту, как бы случайно подтягивая брюки повыше. Тут же раздавались восхищенные стоны:

– Ух ты, вот это носочки! Класс!

Более выразительного слова, чем «класс», мы просто не знали. Когда оно звучало, у всех перед глазами возникало надменное лицо Оми, хотя тот неизменно появлялся в аудитории лишь в последнюю минуту, перед самым построением.

Однажды утром, после долгого снегопада, я торопился в гимназию. Мне накануне позвонил один из приятелей и сказал, что сегодня будет большое сражение. Я всегда плохо сплю, если на завтра ожидается нечто из ряда вон выходящее, а потому встал в то утро ни свет ни заря и сбежал из дома раньше обычного.

Снегу выпало не так уж и много – он едва доходил до верха ботинок. В этот предрассветный час заснеженный город казался не похорошевшим, а, наоборот, каким-то особенно жалким. Улицы словно замотали свои раны и язвы грязноватым бинтом. Ведь раны улицы – это и есть ее красота.

Когда электричка подъезжала к станции, где находилась гимназия, я увидел из окна еще почти пустого вагона, как над крышами заводского района восходит солнце. И пейзаж наполнился радостью и цветом. Унылая шеренга фабричных труб и скучный ряд однообразных строений задрожали от страха, когда утреннее солнце высветило напыленную миром ликующую снежную маску. Именно на таких заснеженных театральных сценах разыгрываются трагедии: восстания и революции. И лица людей, бледные от сияния окружающей белизны, делаются похожими на лица заговорщиков.

Я еще совсем недалеко ушел от станции, проходил мимо конторы транспортной компании, а с крыш уже закапала талая вода. Мне почудилось, что это падают вниз брызги солнечного света. С отчаянными криками бросались они навстречу гибели, вниз, прямо в слякоть грязного, истоптанного ногами бетонного тротуара...

В школьном дворе снег лежал нетронутым. Раздевалка еще была закрыта, и я пошел прямо в нашу классную комнату, которая располагалась на первом этаже. Распахнув окно, я

стал смотреть на присыпанную снегом рошу. С заднего двора гимназии через рошу к учебному корпусу вела дорожка, и я увидел цепочку следов, тянущуюся по ней к самому окну нашего класса, а потом сворачивавшую влево, к лабораторному флигелю.

Значит, меня кто-то опередил? Кто-то прошел через задние ворота, заглянул в окно пустой аудитории, увидел, что там никого нет, и отправился дальше.

Но почти никто из учеников не приходил в гимназию через рошу – всего несколько человек. И среди них Оми, про которого болтали, будто он ночует у женщины, живущей где-то в той стороне. Но это не мог быть Оми – ведь тот всегда появлялся перед самым звонком, не раньше. И в то же время следы были такие большие. Никто, кроме Оми, у нас не носил обуви подобного размера.

Я высунулся из окна, взгляделся в отпечаток ноги и увидел сквозь снег черную, вызывающе свежую землю. От следов исходила какая-то уверенная, могучая сила, неодолимо притягивавшая меня. Я испытал неудержимое желание рухнуть головой вниз и зарыться лицом в эти следы. Но, как обычно, мои неуклюжие мышцы помешали осуществлению страстного желания. Когда я, бросив ранец на стол, с трудом карабкался на подоконник, мне пришлось навалиться на его каменную поверхность всем телом, и пуговицы глубоко впились в мою хилую грудь. Я испытал острую боль – смешанное ощущение горечи и наслаждения. Боль прошла не сразу; спрыгнув вниз, я еще чувствовал ее волнующий отзвук, предвещавший неведомые опасности. Мне удалось попасть точнехонько в заветные следы.

Оказалось, что их размер не настолько уж больше моего. Я не учел, что большинство гимназистов (и я в том числе) носили галоши, считавшиеся тогда особым шиком. Увы, судя по всему, тут ходил не Оми. И все же меня тянуло пройти по этому черному следу, хоть тревожное чувство и подсказывало, что в конце пути меня ожидает разочарование. Возможно, дело здесь было не только в надежде увидеть Оми – любопытство и обида подбивали меня посмотреть, кто же истоптал снег первым, кто нарушил его тайну.

Тяжело дыша, я отправился по цепочке, шагая из следа в след. В одних виднелась черная блестящая земля, в других сухая трава, грязный слежавшийся снег или камень мощеной дорожки. Вскоре я обнаружил, что двигаюсь широким, смелым шагом. Так ходил Оми.

Я свернул за угол лабораторного флигеля и вышел на освещенный снегом холмик, за которым располагался стадион. Трехсотметровый эллипс беговой дорожки слился с игровым полем – их прикрыла ровная пелена сверкающего снега. На дальнем краю стадиона росли две гигантские дзельквы – их по-утреннему длинные тени придавали заснеженному пространству асимметрию и неправильность, без которых не бывает подлинного величия. Сочетание голубого небесного фона, снежного сияния и косою солнечного света делало деревья как-то неестественно, по-пластмассовому точеными; с ветвей то и дело осыпалась вспыхивавшая золотом белая пыль. Все вокруг безмолвствовало, все еще спало – и корпуса пансиона, и роша, – и потому я слышал, как падает с дзелькв снежная осыпь.

В первый миг я, ослепленный этим сияющим простором, ничего не разглядел. Снежный пейзаж чем-то напомнил мне свежие руины. Было нечто античное в том, как этот ложно траурный ландшафт тонул в бескрайнем искрящемся свете.

А потом на краю этого мертвого города я разглядел огромные, метров по пять, буквы, прочерченные по снегу. Сначала гигантское О, дальше М и еще дальше незаконченное И.

Все-таки это был Оми. Цепочка следов вела через поле к О, от О к М, а от М к самому Оми, который, обмотанный белым шарфом, с засунутыми в карманы пальто рукавами сосредоточенно вытапывал в снегу букву И. Его тень с восхитительным высокомерием

тянулась через белое поле, параллельно теням двух гигантских дзелькв.

Щеки мои горели огнем. Я слепил снежок и кинул в Оми, но не добросил. Однако тот, закончив букву И, поднял глаза и увидел меня.

– Э-ге-гей! – закричал я.

Почему-то я был уверен, что мое появление вызовет у Оми недовольство, но все же, охваченный страстным порывом, заорал во все горло и побежал под горку, на стадион.

И тут случилось чудо – зычным голосом, в котором явно звучало *дружеское расположение*, Оми проорал в ответ:

– Осторожно! Смотри на буквы не наступи!

Сегодня он определенно казался не таким, как обычно. Оми никогда не учил домашних заданий, учебники так и лежали в его шкафике, в гимназической раздевалке, а он являлся на занятия налегке, руки в карманах, – причем всегда с неподражаемой точностью: скинет пальто, встанет в шеренгу, и в тот же миг звонок. А в это утро Оми пришел ни свет ни заря, разгуливал в одиночестве по школьной территории и даже улыбнулся своей грубоватой улыбкой мне, несчастному молокососу, которого прежде и взглядом не достаивал! О, как долго я ждал и надеялся увидеть его улыбку, этот ряд молодых белых зубов!

Но чем ближе подходил я к улыбающемуся Оми, тем слабее становился порыв, заставивший меня кричать и бежать через все поле. Я вдруг осознал одну вещь и разом скис. Он потому и улыбался, что я застал его врасплох, я его понял, и созданный мною образ прежнего Оми рассыпался.

Когда я увидел вытопанные в снегу огромные буквы О-М-И, то не столько разумом, сколько интуитивно постиг всю глубину его одиночества. Мне стало ясно то, чего, возможно, не понимал и сам Оми, – почему в это снежное утро его потянуло сюда в такую рань... Если б мой кумир сейчас снизошел до какого-нибудь пошлого оправдания (вроде: «Сегодня у нас снежное сражение, вот я и пришел пораньше»), я бы лишился чего-то очень для меня важного, и эта утрата была бы несравнимо болезненней, чем ущерб, нанесенный гордости Оми. Вот почему я поспешил прийти ему на помощь и сказал первым:

– Вряд ли сегодня удастся в снежки поиграть. Маловато все-таки снегу выпало.

Лицо Оми приобрело равнодушное выражение. Скулы его затвердели, в брошенном на меня взгляде читалось легкое презрение. Он изо всех сил пытался уверить себя в том, что я – жалкий сосунок, и от этого усилия в глазах его зажглись недобрые огоньки. Оми был благодарен мне за то, что я ни словом не обмолвился о буквах, но в то же время старался подавить в себе это чувство. Как сладко было мне наблюдать за этой внутренней борьбой!

– Чего ты в вязаных перчаточках ходишь, как дитя малое, – фыркнул он.

– Взрослые тоже носят такие, – возразил я.

– Эх ты, бедолага. Поди и не знаешь, что такое настоящие кожаные перчатки. Вот, гляди.

И он внезапно потерял своей мокрой от снега перчаткой по моей щеке. Я отшатнулся. Щека вспыхнула нестерпимым чувственным пламенем, словно помеченная огненным тавром. Я почувствовал, как прозрачен и ясен взгляд моих глаз, устремленных на Оми.

Именно в тот миг я в него и влюбился.

Это была первая в моей жизни любовь, если, конечно, ко мне применимо столь прямолинейное слово. Причем любовь моя явно и недвусмысленно основывалась на физическом желании.

С каким нетерпением ждал я наступления лета, когда мог представиться случай увидеть Оми раздетым. У меня была страстная, заветная мечта – посмотреть на его «здоровенную шпуку».

В моей памяти, как два электропровода, спутались две истории, связанные с перчатками. Кроме тех, кожаных, я часто вспоминаю еще пару белых парадных перчаток, и уже сам не знаю, какое событие произошло в действительности, а какое плод моей фантазии. К грубоватому облику Оми, пожалуй, больше подошли бы кожаные перчатки, хотя, может быть, по контрасту он лучше смотрелся бы в белых.

Я сказал «грубоватый облик», и перед моими глазами встает самое заурядное лицо, лицо юноши, чувствующего себя одиноким среди мальчишек. Оми не был у нас в классе самым высоким, но зато никто не мог с ним сравниться ладностью фигуры. Наша гимназическая форма, имитировавшая мундир морского офицера, на узких ребячьих плечах смотрелась довольно убого, и лишь одному Оми она была впору. В этом синем наряде он так и излучал мужественную силу и чувственность. Уверен, что не я один с завистью и обожанием смотрел на эту великолепную мускулатуру, проступавшую под тонкой саржевой тканью.

Лицо Оми постоянно выражало какое-то угрюмое превосходство. Наверное, это было следствием уязвленной гордости. Я воображал, что провалы на экзаменах, изгнание из пансиона и прочие удары судьбы воспринимались им как олицетворение некой загадочной и всевластной силы. Что это была за сила? Мне смутно грезилось, что ее породило зло, живущее в душе Оми, который пока и сам не догадывается, какой мощный заговор против него зреет в его собственном сердце.

Лицо у Оми было смугловатое, круглое, с надменно выступающими скулами, небольшим, но мясистым, хорошей формы носом, точеной линией рта и мужественным подбородком; одного взгляда на эти черты хватало, чтобы почувствовать, как мощен и стремителен ток крови в теле Оми. Под таким обличьем могла скрываться только дикая, неукротенная душа. Разве можно было ожидать от человека с подобным лицом какой-то насыщенной внутренней жизни? Но зато он наверняка обладал непостижимым совершенством, когда-то доступным людям, но оставленным ими в далеком прошлом.

Иногда Оми от нечего делать подходил и заглядывал мне через плечо в книгу – а книги я читал все больше мудреные и моему возрасту мало подходившие. Я немедленно с извиняющейся улыбкой захлопывал книгу. Не от смущения, нет. Я боялся, что, затеяв разговор о литературе, Оми продемонстрирует полное невежество и тем самым нанесет ущерб собственному совершенству, так мало им сознаваемому. Мне не хотелось, чтобы этот Одиссей заплутал в пути и забыл свою родную Итаку.

Во время уроков, на занятиях гимнастикой я не сводил с Оми глаз и постепенно сотворил для себя его идеальный образ. Даже сейчас, оглядываясь назад, я не могу обнаружить в том прекрасном образе ни единого изъяна. Я знаю, что в подобном повествовании следовало бы изобразить какие-нибудь милые недостатки или забавные привычки того, кого любил, – от этого персонаж станет живее, но что поделаешь: моя память ничего в этом роде не сохранила. Зато в ней запечатлелось многое другое, и эти воспоминания бесконечно многообразны, расцвечены тончайшими нюансами. Благодаря Оми я нашел определение человеческому идеалу, я обнаружил все признаки совершенства в его бровях, лбе, глазах, носе, ушах, щеках, скулах, губах, подбородке, шее, кистях, цвете

лица, коже, в его мощных руках и груди.

Взяв за основу эти абсолютные критерии, я путем тщательного отбора разработал целую систему ценностей. Из-за Оми я бы никогда не смог полюбить человека умного и образованного. Из-за Оми меня ни за что не привлек бы юноша, носящий очки. Из-за Оми я проникся любовью к физической силе, полнокровию, невежеству, размашистой жестикуляции, грубой речи и диковатой угрюмости, которая присуща плоти, не испорченной воздействием интеллекта.

...Надо сказать, что эта бескомпромиссная шкала делала исполнение моего желания логически невозможным, хотя нет на свете ничего более логичного, чем плотский импульс. Однако стоило мне наладить с предметом моих вожделений контакт на интеллектуальном уровне, добиться взаимопонимания, как тут же физическое желание испарялось. Малейшие признаки интеллекта в партнере заставляли и меня перейти на язык рассудочности. Любовь – чувство обоюдное: тебе нужно от любимого то же, что ему от тебя; вот почему, ожидая от партнера полного невежества, я и сам испытывал жгучую потребность в полном отказе от разумности, я поднимал мятеж против интеллекта. А восстание такого рода было заведомо обречено на поражение. Со временем я научился наблюдать за обладателями моего идеала, здоровой плоти без малейших признаков духа, – уличными хулиганами, моряками, солдатами, рыбаками – с безопасного отдаления, не вступая с ними в разговоры, сохраняя баланс страсти и хладнокровия. Наверное, мне следовало бы поселиться где-нибудь на южных островах, где я не понимал бы язык туземцев. Недаром во мне с детских лет живет тоска по неистовому тропическому лету.

Но вернусь к перчаткам. У нас в гимназии было заведено в дни торжеств надевать белые перчатки. Мне достаточно их натянуть, щелкнуть меланхолично поблескивающими перламутровыми пуговицами на запястьях, расправить три многозначительно выстроченные складки с внешней стороны, и в памяти сразу воскресает сумрачный актовый зал, вкус печенья сиосэ, которое раздавали гимназистам по окончании церемонии, и еще удивительная метаморфоза, непременно происходившая в день праздника: он всегда начинался солнечно и звонко, а потом вдруг как бы давал трещину и рассыпался.

Та история произошла зимой, очевидно, в День основания империи. Почему-то Оми опять пришел в гимназию необычно рано. До построения оставалось еще немало времени.

Мы, второклассники, оккупировали школьную игровую площадку, предварительно прогнав оттуда первоклассников, – эта процедура неизменно доставляла нам жестокое удовольствие.

Кроме бревна, на площадке ничего примечательного не было, а толкаться на бревне мы считали забавой детской и нас недостойной. Но поиграть все же хотелось, и изгнание мелюзги как бы придавало нашей возне вид не вполне серьезный – мол, просто дурачимся. Первоклассники сбились кучкой и с почтительного расстояния наблюдали за нашей игрой, а мы, чувствуя на себе взгляды, старались вовсю. Игра заключалась в том, чтобы столкнуть соперника с подвешенного на цепях бревна.

Никто не мог сравниться ловкостью с Оми: он прочно стоял на бревне и без труда сбрасывал на землю всякого, кто вступал с ним в единоборство. Как он был похож сейчас на загнанного в угол убийцу! Уже несколько наших одноклассников вспрыгнули на бревно, но моментально слетели вниз, не в силах противостоять Оми; весь снег вокруг был истоптан ногами побежденных. После очередной победы Оми ликуяюще сцеплял над головой руки в

белых перчатках, как боксер после матча, и сиял триумфальной улыбкой. Первоклашки уже позабыли о своей обиде и приветствовали победителя громкими криками.

Я же не сводил глаз с белых перчаток Оми. До чего отважны и безупречно точны были его движения! Так наносит удар лапами молодой хищник. Белые перчатки рассекали зимний воздух, подобно стрелам с белым оперением, и безошибочно разили соперника прямо в грудь. Иной раз поверженному противнику даже не удавалось спрыгнуть, и он летел в снег кубарем. В такой миг Оми и сам удерживал равновесие с трудом; балансируя на скользком от инея бревне, он отчаянно взмахивал руками – словно корчился в муках. Но гибкая поясница неизменно выручала его, и вновь Оми делался похож на отбивающегося от преследователей злодея.

А бревно невозмутимо и мерно покачивалось из стороны в сторону...

Меня вдруг охватила тревога, мучительное, невыразимое беспокойство. Это было как приступ головокружения от качки на бревне, но ведь я-то стоял на земле. Головокружение мое было чисто духовного свойства – я чувствовал, как под натиском рискованных движений Оми теряю свое внутреннее равновесие. Удержать его я не мог, ибо во мне столкнулись две противоположные силы: инстинкт самосохранения и другой, более глубокий и мощный, импульс, стремящийся нарушить мой душевный баланс. Я знаю, что это была за сила: люди подчас отдаются ей, сами о том не подозревая, она влечет их к самоубийству.

– Ну что же вы? – крикнул Оми. – Одни слабаки, что ли, собрались? Кто следующий?

Он стоял на раскачивающемся бревне, уперев руки в белых перчатках в бока. Кокарда на его гимназической фуражке вспыхивала золотом в лучах утреннего солнца. Никогда еще я не видел его таким прекрасным.

– Я следующий!

Мне пришлось точно рассчитать миг между биениями моего сорвавшегося с цепи сердца, чтобы произнести эти два слова. Так бывает всякий раз, когда я уступаю желанию.

Мне казалось, что встать на бревно меня толкнул не внезапный неодолимый порыв, а это было чем-то предопределенным. В более поздние годы я не раз совершал решительные поступки и даже временами сам впадал в заблуждение, считая себя человеком волевым.

Я поставил ногу на бревно, и все вокруг закричали:

– Брось, куда тебе! Он тебя мигом сшибет!

Ставя на бревно вторую ногу, я чуть не поскользнулся, и зрители возбужденно зашумели.

Оми дурачился, делал вид, что с трудом удерживается на ногах, а сам манил меня пальцем, затянутым в перчатку. Мне почудилось, что это какое-то смертоносное, острое оружие, готовое вонзиться в мое тело.

Несколько раз наши с ним белые перчатки ударились друг о друга, и каждый раз я чуть не падал – так сильна была его рука. Оми, похоже, хотел натешиться вдоволь и не торопился спихнуть меня наземь. Он дразнил меня, высовывая язык, испуганно взмахивал руками и причитал:

– Ой, пропал я, бедный! Ты такой сильный! Горе мне, горе! Ой-ой-ой, сейчас упаду!

Мне было невыносимо смотреть, как этим глупым шутовством он, сам того не ведая, разрушает свою красоту. Отступая под его натиском, я невольно отводил глаза.

Тут Оми резко толкнул меня справа, я пошатнулся, взмахнул рукой, и по чистой случайности мои пальцы наткнулись на его белую перчатку. Я вцепился в них намертво, чувствуя сквозь ткань прикосновение его руки.

В этот миг наши взгляды встретились – всего на секунду, не более. Но с лица Оми разом исчезло дурашливое выражение, а глаза поразительным образом посерьезнели. В них мелькнуло что-то подлинное, беспримесное – но не враждебность и не ненависть. Впрочем, возможно, я себе это напридумывал и ничего особенного во взгляде Оми не было, просто он почувствовал, что вот-вот потеряет равновесие. Но я безошибочно понял: Оми ощутил молниеносный импульс, переданный моими пальцами, и прочел в моем взгляде, что я люблю его, только его одного на всем белом свете.

А затем почти одновременно мы оба свалились с бревна.

Подняться мне помог Оми. Он грубовато дернул меня за руку, поставил на ноги и, ни слова не говоря, принялся отряхивать грязь с моей одежды. У него на локтях и перчатках тоже посверкивал снег, смешанный с черными крупными частицами земли.

Я посмотрел на Оми снизу вверх с неммым упреком. Тогда он взял меня за руку и повел прочь.

У нас в классе, где все знали друг друга с начальной школы, было заведено ходить друг с другом за руку, а то и в обнимку. Тут как раз раздался звонок на построение, и одноклассники потянулись за нами следом. Они не придали значения случившемуся – наше с Оми падение с бревна означало для них лишь конец забавы, которая уже начинала надоедать, да и внезапная близость недавних соперников, очевидно, не показалась им странной.

Но я шел, опираясь на руку Оми, и ощущал себя на вершине блаженства. Я привык считать, что в любом наслаждении есть привкус несчастья, – виной тому мое от рождения слабое здоровье; однако сейчас я чувствовал лишь упоение неистовой силой, лившейся в мое тело от соприкосновения наших рук. Мне хотелось идти так бесконечно, до самого края земли.

Однако в актовом зале Оми как ни в чем не бывало выпустил мою руку и встал на свое место в шеренге. И даже не оглянулся. Во время начавшейся потом церемонии я без конца поглядывал то на свои запачканные перчатки, то на грязно-белые перчатки Оми, стоявшего через четыре человека от меня.

Я никогда не пытался подвергнуть свою безоглядную любовь к Оми рациональному осмыслению, как, впрочем, и нравственному анализу. Едва начинал работать мозг, чувство мое сразу отключалось. Если бывает на свете любовь, которая приходит, уходит и вновь приходит, не претерпевая ни малейших изменений, то именно к этому разряду следует отнести мое чувство. Всякий раз я смотрел на Оми как бы «первым взглядом», я бы даже сказал «первобытным взглядом». Это была бессознательная попытка четырнадцатилетней души защитить свою цельность от коррозии.

Я спрашиваю себя: уместно ли здесь слово «любовь»? Наверное, да – ибо, невзирая на всю свою примитивность и непостоянность, она тоже ведала и падение, и разложение. Падения эти были горше и безысходнее всех любовных падений в мире, а абсолютность разложения превосходила своей злокачественностью все формы декаданса.

И все же мое чувство к Оми, первая в моей жизни любовь, было поистине невинно, как невинно плотское желание птички, таящееся под пушистым покровом перьев. Мной владела не жажда обладания, а искушение, соблазн в самом чистом своем выражении.

На занятиях, особенно если урок был скучен, я только и делал, что разглядывал профиль Оми. Я еще не знал, что любви помогают, что любовь дарят, а потому довольствовался

пассивным созерцанием. Для меня любовь представлялась всего лишь хитроумной сетью, сотканной из маленьких загадок, остающихся без разгадки. Мне и в голову не приходило, что мое обожание может обрести взаимность.

Однажды – это было в третьем классе, весной – из-за небольшой простуды я пропустил день занятий, а когда наутро пришел в гимназию, то узнал, что накануне наш класс проходил медосмотр. Меня и еще нескольких гимназистов, отсутствовавших в предыдущий день, отправили в медицинский кабинет.

В углу комнаты горела газовая печь; голубой огонек был почти невидим в ярком солнечном свете. И совсем не пахло особенным розоватым ароматом сладкого молока, обычно возникающим в помещении, где толпится множество голых подростков. В кабинете стоял только запах дезинфекции. Зябко поеживаясь, мы снимали рубашки.

Один мой одноклассник, тощий и тоже без конца болевший простудами, встал на весы. Глядя на его хилую, бледную спину, поросшую детским пушком, я вдруг встрепенулся. Ведь я так долго мечтал увидеть Оми обнаженным! И вот, по собственной глупости, упустил такой великолепный шанс! Ничего не поделаешь, придется теперь ждать другого случая.

Я почувствовал, что краска отлила от моего лица. Горькое сожаление пронзило ледяным ознобом все тело и выступило на нем гусиной кожей. Почесывая уродливые следы от прививок на своих тощих плечах, я угрюмо смотрел в пространство. Тут подошла моя очередь. Весы казались мне эшафотом, который подведет черту под моей жизнью.

– Тридцать девять пятьсот, – отрапортовал ассистент, из военных фельдшеров, школьному врачу.

– Тридцать девять пятьсот, – повторил тот, записывая в мою карточку. – Надо же, даже до сорока кило недотянул.

Я уже давно привык, что каждый медосмотр превращается для меня в сплошное унижение. Но в этот раз мне было немного легче: хорошо хоть рядом нет Оми и он не видит моего позора. Это утешительное чувство на миг так завладело мной, что на душе стало даже радостно...

«Следующий», – нетерпеливо подтолкнул меня ассистент, но я не ответил ему ненавидящим взглядом, как и в предыдущие разы.

Все это время я смутно предчувствовал, чем именно закончится моя первая любовь. Возможно, это тревожное предчувствие и составляло главную прелесть моих душевных терзаний.

Это случилось в самом начале лета. Бывают такие образцово-показательные дни, являющиеся как бы генеральной репетицией наступающего лета. Прибывает инспектор нового сезона и проверяет, все ли в порядке, готовы ли люди и их одежда к солнцу и жаре. И мы обрягаемся в легкие рубашки, чтобы продемонстрировать свою готовность.

Но я, несмотря на жаркий день, был, как всегда, простужен – страдал бронхитом. Вместе с одноклассником, у которого болел живот, мы отправились к школьному врачу, чтобы он разрешил нам на уроке гимнастики быть «наблюдателями» (так назывались ученики, которые освобождались от занятий спортом, но все равно должны были там присутствовать).

Получив соответствующую бумажку, мы не торопились возвращаться в спортивный зал, шли нога за ногу. Справка от врача оправдала бы любое опоздание, а сидеть и смотреть, как

другие занимаются гимнастикой, было невыносимо скучно.

– Уф, жарища! – сказал я, снимая гимназическую куртку.

– Ты что! – замахал руками одноклассник. – У тебя же простуда! Еще подумают, что ты симулянт.

Я поспешно натянул куртку обратно.

– Мне-то можно, – ухмыльнулся он. – У меня ведь брюхо болит. – И с наслаждением расстегнул мундир.

Войдя в раздевалку, мы увидели на вешалках не только куртки и брюки, но даже нижние рубашки. Весь наш класс, человек тридцать, был на улице, вокруг металлической перекладины. Там, под открытым небом, среди золотого песка, сияло яркое солнце, не то что в сумрачном зале. Меня, как всегда в подобных случаях, охватила досада на собственное хилое здоровье, и я присоединился к одноклассникам, давясь сердитым кашлем.

Наш невзрачный преподаватель выдернул у нас из рук справки об освобождении, даже не взглянув на них.

– Та-ак, теперь переходим к упражнениям на перекладине, – объявил он. – Оми, ну-ка покажи, как это делается.

Я услышал, как одноклассники зашумели, подзывая Оми. Тот, как это нередко с ним бывало во время занятий, куда-то запропастился. Не знаю, чем он там занимался, но вот и теперь Оми появился не сразу. Он не спеша вышел из-за тенистого дерева. Над ним трепетала вспыхивающая на солнце листва.

При одном взгляде на Оми сердце мое бешено заколотилось. Он был без рубашки, в одной гимнастической майке без рукавов. По контрасту со смуглой кожей белизна майки казалась просто ослепительной. Эту белизну и свежесть можно было буквально вдыхать – даже издали. Сквозь майку гипсовым барельефом проступали выпуклые грудные мышцы и соски.

– Подтягиваться, что ли? – с ленивой уверенностью переспросил он.

– Ага. Давай, – кивнул преподаватель.

Тогда Оми с изящной небрежностью, которую так любят изображать юноши атлетического сложения, наклонился, разгреб песок, зачерпнул повлажнее и натер ладони. Потом, энергично потирая руки, выпрямился и снизу вверх посмотрел на перекладину. В глазах его горела решительность богоборца; на миг в них отразились облака и майское небо, потом лицо Оми приобрело презрительно-холодное выражение. Одним рывком его тело взметнулось вверх, и мощные руки (о, как пошла бы им татуировка в виде якоря!) вцепились в стальной стержень.

Весь класс восторженно ахнул. Каждый из нас, заглянув себе в душу, убедился бы, что его восхищает не сила Оми, а его молодость, расцвет жизни, его превосходство над всеми нами. И еще всех поразила обильная поросль, открывшаяся под мышками у Оми. Мы, мальчишки, впервые видели, чтобы в таком месте столь густо росли волосы, похожие на пучки буйной летней травы, которой мало заполнить весь сад – она норовит пробиться еще и меж каменными плитами двора. Так и у Оми волосы росли не только под мышками, но и переходили на грудь. Два этих оазиса черной растительности сверкали на солнце, и белая кожа вокруг казалась белоснежным песком пустыни.

Оми стал подтягиваться; на его плечах и руках мощными летними тучами вздулись бугры мышц, погрузив подмышки в глубокую тень; грудь, касаясь перекладины, подрагивала.

Нас всех подавило это зрелище неистовой, бессмысленной жизненной силы. Ее было

слишком много, агрессивной, бьющей через край, совершенно бесцельной – она существовала исключительно ради себя самой. Такое ее изобилие угнетало. Могучая сила жизни без ведома самого Оми прокралась в его тело, замыслив овладеть им, отстранить, раздавить хозяина, а затем неудержимым потоком хлынуть наружу. Когда жизни столь много, она подобна болезни. Плоть, пораженная недугом этого рода, может существовать на свете лишь с одной-единственной целью: быть принесенной в жертву какой-нибудь безумной идее. Другим заразам такое тело не подвержено, и в глазах обычных людей, одолеваемых всевозможными болезнями, оно выглядит живым укором... Мои одноклассники непроизвольно подались назад.

Я испытывал те же чувства, что все, но с одним существенным различием. С самого начала этой сцены, как только я увидел густую поросль под мышками у Оми, у меня произошла эрекция, отчего лицо мое залилось краской стыда. Я боялся, что другие заметят этот горб сквозь мои легкие летние брюки. Но не только это обстоятельство мешало мне наслаждаться долгожданным зрелищем. Когда моя давняя мечта осуществилась и я наконец увидел тело своего кумира, во мне родилось неожиданное чувство совершенно иного свойства.

То была зависть.

Оми спрыгнул с перекладины, имея вид человека, закончившего благородное, возвышенное дело. Услышав, как его ноги ударились о песок, я зажмурил глаза и тряхнул головой. Я сказал себе, что больше не люблю Оми.

Да, то была зависть. Причем такая страстная, что из-за нее я решил отказаться от любви.

Именно тогда во мне зародилась потребность в суровом, спартанском самовоспитании. (Вот и эту книгу я пишу, следуя той же цели.)

К примеру, меня мучило то, что я совершенно не умел смотреть людям прямо в глаза, – причиной тому, очевидно, моя болезненность и преувеличенная забота, которой я был окружен с детства. Теперь я решил «закалять характер». В качестве упражнения я взял себе за правило в вагоне электрички или трамвая впиваться злым взглядом в лицо кого-нибудь из пассажиров, все равно кого. Большинству людей надоедало мериться взглядами с бледным, хилым подростком, и они отводили глаза в сторону – без малейших признаков испуга. Мало кто отвечал мне столь же свирепой гримасой. И всякий раз, когда пассажир отворачивался, я считал, что одержал победу. Так постепенно я и в самом деле научился смотреть людям в глаза...

Решив, что с любовью покончено, я и думать о ней забыл. И совершенно напрасно. Разве можно было забыть о самом интересном из проявлений любви – об эрекции? Она уже долгое время возникала и исчезала как бы сама по себе, да и связанная с ней «дурная привычка», которой я в одиночестве нередко предавался, тоже являлась актом неосознанным. Хоть я не хуже своих сверстников был осведомлен о физиологической стороне жизни, мне до сих пор не приходило в голову страдать из-за того, что я не такой, как все.

Я понимал, что мои вожелания ненормальны и даже неправильны, что моим товарищам они несвойственны. Поразительная вещь: я запоем читал всякие романтические истории и любил фантазировать о любви между мужчиной и женщиной, о браке, о семье – совсем как неопытная юная барышня. Я выбросил страсть к Оми в мусорную яму

неразгаданных загадок, так и не попытавшись задуматься всерьез над ее значением. Это сегодня я пишу «любовь», «страсть», а в те времена я не придавал своему чувству такого значения. Мне и в голову не приходило, что мои фантазии могут быть напрямую связаны со всей моей судьбой.

Однако некий безошибочный инстинкт все же заставлял меня стремиться к одиночеству. Это стремление принимало форму неясного мучительного беспокойства – я ведь, кажется, уже писал, что с самого раннего детства, когда задумывался о предстоящей взрослой жизни, испытывал смутный страх. Поэтому ощущение того, что я расту, вызывало у меня тяжелое, тревожное чувство. А рос я, увы, быстро: мне покупали брюки навырост, чтобы можно было понемногу удлинять их, отпуская манжеты. И каждый год, как во всякой семье, на стене помечали карандашом, на сколько я вырос. Это происходило в гостиной, в присутствии домашних, и все радовались, все надо мной подшучивали. Я тоже изо всех сил изображал веселье. А сам внутренне сжимался, ибо знал: когда я стану таким же большим, как взрослые, мне суждено столкнуться с неведомой страшной опасностью. Ужас перед будущим еще более развивал во мне способность к фантазированию, а фантазии заставляли вновь и вновь предаваться «дурной привычке». И причиной всему была неотступная тревога...

– Ты не доживешь и до двадцати, – дразнили меня приятели, имея в виду мою слабость и болезненность.

– Как вы можете говорить такие ужасные вещи, – горько улыбался я, но сердце мое сжималось от сладостного, сентиментального чувства.

– Давай пари заключим! – предложили мне однажды.

– Я ставлю на то, что доживу, – ответил я. – Другого выбора у меня нет. А ты ставь на то, что я умру.

– Ладно, – со свойственной подросткам жестокостью сказал предложивший пари. – Только учти – ты проиграешь.

У меня, как и у других моих ровесников, в отличие от Оми волосы под мышками еще не появились, наметился только какой-то мягкий пушок. Я прежде и внимания на эту часть своего тела не обращал. Но после того урока гимнастики растительность под мышками стала для меня настоящим фетишем.

В ванной я подолгу простаивал перед зеркалом. Оно безжалостно и неприязненно отражало мое голое тело. Я верил, что когда-нибудь превращусь из гадкого утенка в прекрасного белого лебедя. Только в моем случае развязка намечалась иная, чем в сказке про героического утенка. Я смотрелся в зеркало, мечтая о дне, когда мои плечи и грудь станут такими же, как у Оми. Но жестокое стекло показывало мне чахлые руки, торчащие ребра, и сердце мое покрывалось ледяной коркой сомнения. Это было даже не сомнение, а мазохистская уверенность; голосом божественного откровения она шептала мне: «Никогда ты не будешь таким, как Оми».

На гравюрах эпохи Гэнроку нередко можно увидеть изображение влюбленных пар, где кавалеры неотличимы от дам. Идеал человеческой красоты, запечатленный античной скульптурой, тоже близок к чему-то среднему между мужчиной и женщиной. Не заключена ли в этом одна из тайн любви? Не содержится ли в основе этого чувства недостижимое, но страстное желание стать точь-в-точь таким, как предмет твоей страсти? Быть может, в недостижимости подобного стремления – корень трагического противостояния,

заставляющего людей подступаться к этой задаче с другой стороны: они, наоборот, преувеличивают различия между мужчиной и женщиной, вступая в сложные, кокетливые игры. Если влюбленным и удастся достичь сходства, оно бывает лишь мгновенным и иллюзорным. Девушка становится все более смелой, юноша все более робким, они движутся навстречу, на миг соединяются в одной точке и тут же проносятся мимо, удаляясь прочь друг от друга.

Вот какова тайна, содержащаяся в любви, и вот почему я называю любовью зависть к Оми, заставившую меня отказаться от него. Взамен прежнего предмета страсти я полюбил то, что делало меня «похожим на Оми»: маленькие темные точки, медленно намечавшиеся у меня под мышками...

Наступили летние каникулы. Я всегда ждал их с нетерпением, но они неизменно оказывались подобием театрального антракта, когда не знаешь, чем себя занять, или пира, на котором кусок не лезет в горло.

С тех пор как ребенком я переболел легкой формой чахотки, врачи запретили мне находиться под прямым ультрафиолетовым излучением. Мне нельзя было загорать на пляже больше тридцати минут. Всякий раз, когда я нарушал это табу, приходилось расплачиваться приступами лихорадки. Я был освобожден от занятий в бассейне и до сих пор так и не умею плавать. Мое позднейшее увлечение морем, созревшее во мне постепенно и со временем занявшее очень важное место в моей душе, родилось – я уверен – именно из неспособности плавать.

Но в ту пору я еще не ведал о необоримом соблазне, которое таит в себе море. Мы – я, мать и брат с сестрой – отправились на побережье, просто чтобы как-то скоротать летние каникулы, сезон, совершенно мне чуждый, но все же манящий неведомыми искушениями...

Я и не заметил, как оказался на вершине утеса один.

Еще недавно мы, дети, бегали по пляжу внизу, среди камней, выискивая выброшенных на берег рыбешек. Так мы добрались до подножия утеса. Добыча наша была невелика, и брат с сестрой уже начали скучать. Тут за нами явилась служанка – отвести назад, к матери, которая лежала на песке под зонтиком. Я почему-то заупрямился, не пошел и вот сидел в одиночестве на утесе.

Послеполуденное солнце мириадами неслышных шлепков похлопывало по поверхности моря, и весь залив горел нестерпимо ярким сиянием. Вдали, наполовину утонув за горизонтом, застыли величавые летние облака, похожие на грустных и молчаливых пророков. Их мощные мышцы белели алебастром.

Людей на этом просторе не было – лишь несколько яхт да рыбацких лодок медленно, как бы нерешительно ползали по морю. Невесомая тишина царила над миром. Ветерок шептал мне на ухо что-то игривое и загадочное, трепеща легкими стрекозиными крыльшками. Берег был окаймлен невысокими плоскими камнями; крутых утесов вроде того, на котором сидел я, насчитывалось всего два-три.

Вдали возникла и заскользила к берегу волна, похожая на диковинную зеленую опухоль. Камни в полосе прибоя странно замахали руками белых брызг, словно зовя на помощь. Впрочем, вид при этом у них был вполне довольный, они напоминали бакены, загоревшиеся мечтой сорваться с привязи и устремиться в вольное плавание. Однако зеленая опухоль пренебрегла ими и, не теряя скорости, помчалась прямо к пляжу. Что-то там проснулось и

встало в полный рост под ее зеленым капюшоном. Тогда распрямилась и сама волна, а над ее гребнем обнажился, сверкнув, широкий и острый топор океана. И вот голубое лезвие гильотины ухнуло вниз, взметнув фонтан белой крови. Отсеченная голова волны покатилась назад, а следом рухнуло и обезглавленное тело; в его зеркале на миг отразилась чистейшая синева неба – как в глазах умирающего... Скрывшиеся было под белой пеной камни теперь, когда волна подалась прочь, вновь обнажились и засверкали. Я видел, как по ним снуют раки-отшельники и как недвижно приникли к ним крабы.

Ощущение одиночества и мысли об Оми слились воедино. Я размышлял так: жизнь связала Оми по рукам и ногам, наполнив его существование одиночеством; мне давно мечталось сравняться с Оми в этом ощущении; и вот теперь, наедине с необъятным океаном, я чувствую нечто очень сходное – стало быть, надо сполна насладиться своим одиночеством, как умел это делать он. Я должен один исполнить две роли – свою и Оми. Но сначала необходимо было найти между нами хоть какую-то точку соприкосновения. И тогда я смогу проникнуться ощущением одиночества, которого сам Оми, возможно, и не сознает; я смогу оказаться на месте Оми и испытать блаженство этого одиночества; в результате же я достигну осуществления своей давней мечты: счастье *смотреть на Оми* превратится в счастье *быть им*.

С тех пор как я оказался во власти чар святого Себастьяна, у меня появилась такая привычка (я и поныне от нее не избавился): стоило мне оказаться без одежды, как я тут же непроизвольно заламывал руки за голову, хотя мое тщедушное тело весьма мало походило на атлетическую фигуру мученика. И потом я непременно заглядывал себе под мышки, чувствуя, как меня охватывает непонятное возбуждение.

Тем летом у меня под мышками наметились темные волосы. Конечно, до Оми мне было далеко, но все же у нас с ним наконец появилось нечто общее. Отчасти мое возбуждение объяснялось этим, но еще больше меня волновали сами подмышки. В день, когда ноздри мне щекотал легкий бриз, а голые плечи и грудь освещало яркое солнце, над безлюдным морским простором я впервые предался «дурной привычке» прямо под синим небом. И объектом моего желания стали собственные подмышки.

Потом нахлынула странная, щемящая грусть. Одиночество испепеляло меня безжалостней жгучего солнца. Синие шерстяные трусы неприятно липли к животу. Я медленно спустился с утеса и побрел по мелководью. Мои ноги, омываемые прибоем, были похожи на мертвые белые ракушки; они ступали по дну – по камешкам и скорлупкам, а вокруг крутились миниатюрные водовороты. Я присел на корточки и позволил волне, с диким оханьем разлетевшейся на куски, ударить меня на излете в грудь и окатить облаком брызг.

Когда волна откатилась, я снова был чист. Бесчисленные семена, исторгнутые моим телом, умчались прочь, море унесло их с собой вместе с мириадами микроорганизмов, семенами водорослей, икринками...

Наступила осень, начался новый семестр. Оми в гимназии не появился. На доске объявлений висел приказ о его отчислении.

Все наши тут же стали говорить о нем всякие гадости, словно подданные только что скончавшегося тирана. У одного он занял десять иен и не вернул, у другого отобрал дорогую иностранную авторучку, третьего чуть не задушил. Каждому нашлось что рассказать о злодеяниях Оми – я просто бесился от ревности, ибо со мной ничего подобного мой бывлой

кумир не проделывал. Немного утешало лишь одно обстоятельство: никто толком не знал, за что его исключили. Даже самые проницательные ученики, которые всегда в курсе всех событий, так и не смогли разнюхать, в чем дело. А учителя лишь загадочно усмехались на наши расспросы и отвечали, что Оми совершил «ужасный проступок».

Но я-то не сомневался, что это был за проступок. Оми, конечно же, стал участником какого-нибудь обширного заговора, о целях которого не догадывался и сам. К этому Оми толкнуло зло, живущее в его душе, то зло, что было смыслом его существования, его судьбой. Разве могло быть по-другому?

«Зло» это теперь рисовалось мне иначе, чем прежде. Оно заставило Оми вступить в члены подпольной организации, огромного секретного общества, ведущего сложные, хитроумные операции во имя служения некоему неведомому божеству. Он посвятил себя новой религии, пытался обращать в нее других, но был выдан предателем и тайно казнен. На рассвете его отвели на лесистый склон, раздели донага, завернули за голову руки, прикрутили их веревкой к дереву... Первая стрела вонзилась ему в бок, вторая впилась под мышку.

Мысли мои неслись дальше. Я вспоминал, как похож был Оми на святого Себастьяна, когда взялся обеими руками за стальную перекладину на уроке гимнастики...

В четвертом классе средней ступени я заболел. Лицо мое приобрело мертвенно-бледный оттенок, руки стали какого-то травяного цвета. Когда я поднимался по лестнице, то всякий раз был вынужден садиться и собираться с силами, чтобы идти дальше. Где-то в области затылка сгущался белый туман, клубился там, не в силах вырваться наружу, и норовил затащить меня в обморок.

Домашние отвели меня к врачу, и он поставил диагноз: малокровие. Доктор был другом семьи и человеком веселым. Когда мои спросили его, что это за болезнь такая, он сказал: «Давайте-ка я вам лучше прямо по учебнику прочту». Родители сидели напротив него, а я был рядом и мог заглянуть в книгу.

– Значит, так, – начал врач. – Причины заболевания. Оно может быть вызвано глистами. Возможно, это как раз наш случай... надо будет анализ кала сделать. Мм... Хлороз к нам не относится – это у девочек...

Тут врач пропустил одну строчку – я это видел – и, причмокивая губами, закрыл книгу. Но я успел прочитать, что малокровие может быть вызвано еще одним обстоятельством. Онанизмом. Я почувствовал, как от стыда бешено заколотилось сердце. Врач понял, в чем причина моего недуга!

Мне стали делать инъекции мышьяка. За месяц этот кровевосстанавливающий яд излечил меня.

Но никто не догадывался, что мое малокровие состояло в тайной связи с обуревавшей меня жаждой крови.

Быть может, именно врожденная нехватка собственной крови породила во мне мечты об обильном кровопролитии. Мечты эти еще более иссушали мои жизненные соки, в результате чего жажда крови усиливалась. Я жил в мире фантазий, губительных для плоти. Плоть слабела, но зато многократно крепла и закалялась сила моего воображения. В ту пору я еще не слышал о книгах де Сада, и мои кровожадные фантазии (я называл их «Театром убийств») питались сценами из «Камо грядеши», где на арене Колизея казнили первых христиан. На сцене этого театра молодые гладиаторы расставались с жизнью, чтобы

доставить мне удовольствие. Смерть там была кровавой, но непременно обставлялась строгим церемониалом. Меня необычайно интересовали всевозможные способы и орудия казни. Дыба и виселица оставляли меня равнодушным – им не хватало кровопролития. Не очень я любил пистолеты и вообще огнестрельное оружие. Чем более варварским, примитивным было орудие убийства, тем лучше: стрела, кинжал, копье. Жертвы чаще всего поражались в живот – так они страдали дольше и мучительней. Несчастные обязательно издавали душераздирающие стоны, полные страдания, тоски и бесконечного одиночества. И тогда во мне просыпалась радость жизни, разгорался некий потаенный огонь, и стон моего наслаждения сливался с криками умирающих. Должно быть, такую же свирепую радость испытывал первобытный человек, охотясь на зверя.

Меч моего воображения истребил несчетное количество греческих воинов, аравийских белых рабов, варварских принцев, гостиничных боев, официантов, уличных хулиганов, офицеров и цирковых атлетов. Я был подобен кровожадному дикарю, не знающему, что такое любовь, и потому выражающему свою неистовую страсть единственным ведомым ему способом – убийством. Я склонялся над павшими и впивался поцелуем в их еще трепещущие губы. Однажды в порыве вдохновения я изобрел собственную машину для казни: рельсы, на одном конце которых устанавливается распятие, а с другой стороны накатывается деревянный щит, утыканный острыми клинками. Я воображал некую фабрику казней, где сверлильные станки терзали человеческие тела, а алый сок стекал в банки, подслащивался и потом отправлялся на продажу. Сколько мучеников со скрученными за спиной руками погибло на арене Колизея, воссозданного фантазией тихого гимназиста!

Аппетиты мои росли, и однажды я придумал сцену, ужаснее которой, по моему разумению, и быть не могло. В качестве жертвы я избрал одного соученика, крепкого юношу, занимавшегося плаванием.

Подземелье. Все готово для таинственного банкета: на столе, покрытом белоснежной скатертью, горят свечи в вычурных канделябрах; возле тарелок разложены серебряные ножи и вилки. Вазы с гвоздиками. Все как на обычном банкете. За исключением одного – середина стола пуста. Очевидно, туда должны поставить какое-то гигантское блюдо.

– Не готово еще? – спрашивает меня один из приглашенных.

Лица его я не вижу, оно расплывается в полумраке, но голос торжественный и явно старческий. Лица гостей вообще как бы подернуты дымкой. Ярко освещена лишь поверхность стола, и белые руки сидящих нетерпеливо теребят посверкивающие ножи и вилки. Негромкий гул голосов, сливающихся в неясный фон. Иных звуков на этом зловещем сборище не слышно – разве что изредка пронзительно скрипнет стул.

– Еще минутку терпения, – прошу я.

Воцаряется гробовое молчание. Гости явно недовольны задержкой.

– Пойду посмотрю, как там дела, – объявляю я.

Встаю, направляюсь к двери, заглядываю в кухню. В углу – каменные ступени лестницы, ведущей наружу.

– Не готово? – спрашиваю я у шеф-повара.

– Сейчас-сейчас, – сердито бормочет он в ответ, нарезая какие-то овощи. На широченном кухонном столе пусто.

Со стороны лестницы доносится веселый смех. В кухню входит еще один повар, ведя за собой моего одноклассника. Он в брюках и расстегнутой на груди синей рубашке с короткими рукавами.

– А-а, это ты, – небрежно приветствую я его.

Он спускается по ступенькам, засунув руки в карманы, и озорно улыбается. В это время зашедший ему за спину шеф-повар внезапно стискивает моему приятелю горло. Тот отчаянно пытается высвободиться.

Наблюдая за борьбой, я говорю себе: «Это что, прием дзюдо? Похоже на то... Как он называется?.. Ну, когда сзади за горло... Ничего, он не умрет. Только сознание потеряет...»

В железных тисках мощных рук шеф-повара юноша быстро слабеет, тело его обмякает. Повар легко подхватывает его и раскладывает на кухонном столе. Его помощник ловко снимает с лежащего рубашку, часы, брюки, и вот мой одноклассник остается совершенно голым. Он раскинулся на спине, свесив голову набок. Я наклоняюсь и со вкусом целую его в губы.

– Может, спинкой кверху перевернуть? – спрашивает шеф-повар.

– Нет, так нормально, – отвечаю я.

Мне хочется, чтобы было видно широкую грудь, похожую на янтарный щит.

Второй повар снимает с полки огромное овальное блюдо как раз в человеческий рост. Вид оно имеет необычный: по краю в нем проделаны маленькие отверстия – пять с одной стороны и пять с другой.

– Раз-два, взяли! – дружно крикают повара и перекладывают юношу на блюдо.

Довольно насвистывая, они накрепко привязывают тело, пропуская шнурок сквозь отверстия. По всему видно, что дело это для них привычное. Потом красиво обкладывают лежащего со всех сторон листьями салата. Сбоку пристраивают разделочный нож и большую вилку.

– Раз-два, взяли! – снова хором вскрикивают повара и поднимают блюдо.

Я распахиваю дверь в столовую.

Нас встречает торжественная тишина. Блюдо водружается посередине ослепительно-белой скатерти. Я возвращаюсь на свое место во главе стола, высоко поднимаю разделочный нож и вилку. Спрашиваю:

– С какого места начнем?

Все молчат, лишь подаются лицами к блюду.

– Наверное, отсюда, – решаю я и вонзаю вилку прямо в сердце связанному.

В лицо мне ударяет фонтан крови. Ножом я аккуратно отрезаю от груди тонкий ломтик мяса...

От малокровия я вылечился, но от «дурной привычки» избавиться так и не сумел.

В гимназии я не мог отвести глаз от молодого учителя геометрии. Говорили, что раньше он работал тренером по плаванию; у него был зычный голос и обоженное солнцем лицо рыбака. Помню, как-то зимой я сидел на его уроке, засунув левую руку в карман (было зябко), и списывал с доски в тетрадь условия задачи. Но вскоре взгляд мой устремился на самого учителя, рука писать перестала. Он прохаживался по классу, молодым громким голосом поясняя задачу.

Чувственность уже всецело подчинила себе мою повседневную жизнь. Я смотрел на учителя и представлял его в виде обнаженного Геракла. Когда он повернулся спиной, стер тряпкой с доски написанное и стал выводить какие-то формулы, я вообразил, как под его пиджаком перекачиваются могучие мышцы бурделевского Геракла, натягивающего лук. И не смог удержаться – предался «дурной привычке» прямо во время урока...

На перемене, низко опустив затуманенную голову, я вышел в коридор. Ко мне подошел одноклассник, в которого в ту пору я был тайно и безнадежно влюблен. Как и Оми, он был второгодником.

– Ты вчера навещал семью Катакуры, да? – спросил предмет моей неразделенной страсти. – Ну как там?

Катакура учился с нами в одном классе; это был тихий, ласковый мальчик, болевший чахоткой и в конце концов умерший. Накануне как раз состоялись похороны. Приятели говорили, что в гробу Катакура выглядит кошмарно – лицо как у самого дьявола, поэтому я подождал, пока тело кремируют, и лишь потом явился к родителям покойного с соболезнованиями.

Я не нашелся что ответить и лишь буркнул:

– Да ничего особенного. Его уже кремировали.

Но мне хотелось сказать своему любимому что-нибудь приятное, и потому я добавил:

– Ах да, чуть не забыл. Мать Катакуры просила передать тебе привет. Говорит, чтобы ты навещал ее почаще, а то ей тоскливо.

– Дурак ты, – фыркнул он и толкнул меня кулаком в грудь – сильно, но беззлобно.

Щеки его совсем по-детски залились стыдливым румянцем, а в устремленных на меня глазах впервые появилось что-то дружеское, словно у нас с ним была некая общая тайна.

– Ну ты дурак, – снова повторил мой кумир. – У, скотина ты этакая. Еще улыбочку такую похабную соорудил!

Я не сразу понял, что он имеет в виду. С полминуты я просто глупо улыбался, довольный, что наконец ему угодил. Потом меня осенило. Мать Катакуры, молодая вдова, была стройной и красивой.

Настроение испортилось – ведь моя непонятливость объяснялась не тупостью, а тем, что наши с ним интересы столь разительным образом отличались. Я ощутил всю глубину разделявшей нас бездны, и мне стало очень горько от этого естественного, но запоздалого открытия. Мне сделалось противно, когда я вспомнил, что выдумал привет от матери Катакуры без всякой задней мысли, желая лишь подольститься к своему обожаемому красавцу. Моя детская невинность была отвратительна, как отвратителен след засохших слез на мордочке ребенка. Как устал я в миллионный раз задавать себе один и тот же вопрос: почему я не могу оставаться таким, каков я есть? Я был сыт по горло самим собой – собой, губившим собственное тело, умудряясь при этом сохранять полнейшую невинность! Мне казалось, что *старание и прилежание* (словечки-то какие!) способны меня спасти. Я не догадывался, что отвращение мне внушает сама *настоящая жизнь*, а вовсе не какие-то там фантазии.

*Настоящая жизнь* торопила, подталкивала меня: скорее начинай жить. Быть может, то была вовсе и не моя жизнь, но я все же подчинился зову и, тяжело волоча ноги, побрел вперед.

# Глава третья

Все говорят, что жизнь подобна театру. Но для большинства людей это не становится навязчивой идеей, а если и становится, то не в раннем детстве, как у меня, – уже тогда я был твердо убежден в непреложности этой истины и намеревался сыграть отведенную мне роль, ни за что не обнаруживая своей подлинной сути. Моя убежденность подкреплялась крайней наивностью и отсутствием жизненного опыта, хотя где-то в глубине души таилось смутное подозрение, а вдруг остальные живут иначе? Нет, уверял я себя, все люди вступают в жизнь точно так же. Я оптимистично полагал, что стоит закончиться спектаклю – и занавес закроется сам собой. В этой вере меня поддерживала и убежденность в том, что я непременно умру молодым. Со временем, однако, моему оптимизму, а точнее, мечте предстояло вынести жестокий удар.

Чтобы меня поняли правильно, скажу сразу: я пока говорю вовсе не о пресловутой «самоидентичности», а о материи куда более простой – о чувственном желании. Только о нем, и больше ни о чем.

В школе жизни я был врожденным двоечником, но мне тоже хотелось переходить из класса в класс, а потому я разработал свою систему, знакомую каждому бездарю: на экзаменах нужно списывать правильный ответ у товарищей и делать вид, что решил все задания сам. Нередко этот нехитрый способ, еще более примитивный и недостойный, чем пользование шпаргалкой, оказывается вполне действенным. Экзамен сдан, двоечник переходит в следующий класс. Однако занятия здесь ведутся уже на новом уровне сложности, а ведь бедняга не понял и более простого материала. Он сидит на уроках, вроде бы слушает учителя, но уразуметь ничего не может. Перед несчастным тупицей два пути: либо махнуть на все рукой и пропадать, либо прикидываться и дальше, будто наука тебе дается. Выбор определяется даже не тем, сколько мужества и сколько слабости в тебя заложено природой, а тем, какого свойства эти мужество и слабость. Каждое из решений может объясняться и первым из этих качеств, и вторым; и в любом случае присутствует неистребимое, почти поэтическое пристрастие к праздности.

Однажды возле школьного забора я догнал группу одноклассников, громко обсуждавших последнюю сплетню: один из наших соучеников (его поблизости не было) якобы влюбился в кондукторшу автобуса, на котором ездил в гимназию. Затем разговор принял более общий характер – можно ли найти что-либо привлекательное в женщине, работающей кондуктором? И тогда я нарочито небрежным тоном, деля слова, произнес:

– А как же форма? Она так облегает тело...

Разумеется, прелести автобусной кондукторши меня совершенно не интересовали. Я сказал про форму по аналогии, к тому же мне, как всякому подростку, хотелось казаться взрослее, циничнее и искусеннее, чем я был на самом деле.

Эффект моих слов превзошел все ожидания – ведь компания состояла сплошь из одних отличников, мальчиков тихих и благовоспитанных. Послышались реплики такого рода:

– Ну ты и типчик!

– Сразу видно, что ты по этой части мастак!

– Какой же ты бесстыжий!

Наблюдая за бурной реакцией своих невинных товарищей, я думал, что лекарство

оказалось чересчур сильнодействующим. Наверное, следовало произнести эти слова иным тоном, не так вызывающе – получилось бы куда солиднее. Надо быть хитрее.

Когда пятнадцатилетний подросток чувствует, что его внутренний мир устроен иначе, чем у сверстников, ему очень легко впасть в заблуждение – решить, что он взрослее и умнее, а потому и мыслит по-другому. На самом деле это не так. Просто моя тревога, моя неуверенность заставили меня раньше других задуматься над устройством своего сознания. Причем самокопание порождало в моей душе лишь хаос, и дальше нелепых догадок дело не шло. Стефан Цвейг пишет: «Дьявольское начало есть в каждом человеке; это беспокойство, побуждающее нас вырваться за пределы своего „я“, стремиться к бесконечному... Словно сама природа почерпнула из недр древнего хаоса неистребимый ген непокоя и заразила им нашу душу». Этот «ген непокоя» вносит в нашу жизнь напряжение, вселяет в нас «жажду сверхчеловеческого, сверхчувственного». Пока же сознанию отводится роль разъяснения и примечания к чему-то главному, человек может обходиться и без сознания.

Итак, тело кондукторши не таило для меня ни малейшего соблазна, но с помощью знакомой аналогии и небольшой хитрости я добился того, что заставил своих товарищей покраснеть от стыда, а втайне испытать столь свойственное их возрасту эротическое возбуждение. Когда я понял это, меня пронзило мстительное ощущение своего над ними превосходства.

Но мысль моя на этом не остановилась и увела меня дальше, к серьезному заблуждению. Чувство превосходства тешило меня недолго и оказало дурную услугу. Я рассуждал следующим образом.

В части моего сознания зародилось самодовольство, я как бы опьянел оттого, что опережаю своих сверстников, и дурман этот распространился на все мое существо. Однако та область сознания, что опьянела первой, первой же и протрезвилась, в то время как душа в целом еще находилась во власти хмеля. Не отдавая себе отчета в этом обстоятельстве, я решил, что рассудок мой теперь ничем не замутнен; я отверг идею своего превосходства и в ослеплении уверил себя, что я такой же, как другие. На этом я не остановился, пошел дальше: если я такой же, то, значит, *я ничем от других не отличаюсь* (именно здесь проявилось действие дурмана, окутавшего бóльшую часть моего сознания). И еще дальше: *они все такие же, как я*. Вот что имел я в виду, когда говорил о хаосе, в который ввергало меня неустанное самокопание... Я сам себя гипнотизировал. И с тех пор этот безрассудный, лживый, я бы даже сказал, дурацкий самообман (в глубине души я и сам понимал его химеричность) на девять десятых заполнил мое существование. Вряд ли кто может соперничать со мной по части внушаемости.

Читателю, должно быть, понятно, почему именно из моих уст вырвалось циничное замечание о кондукторше. Причина и в самом деле очевидна, один лишь я ее не понимал. В отличие от своих одноклассников я не терзался тайным вожделением по женскому телу, а потому не ведал и стыда. Вот как все просто.

Чтобы вы не думали, будто все эти аналитические рассуждения – плод моего нынешнего знания о себе, приведу отрывок из повести, которую писал в пятнадцать лет.

...Рётаро без труда завоевывал себе новых друзей. Ему казалось, что если он будет весел – или станет изображать веселость, – то сумеет избавиться от одолевавшей его беспричинной тоски и лени. Самоослепление, этот важнейший

элемент веры, постоянно держало его в состоянии какого-то возбужденного спокойствия. Участвуя в непристойных забавах или сыпя вульгарными шутками, Рётаро думал: «Вот сейчас мне не тоскливо. Я не скучаю». Для себя такое умонастроение он окрестил «забвение любви».

Нормальный человек никогда не знает толком: весел ли он, счастлив ли он. Что ж, сомнение – вещь естественная, счастья без него не бывает.

Однако Рётаро заявил себе, что ему весело, с непоколебимой уверенностью, не оставляя для сомнения места. И должно быть, от этого людей тянуло к его «уверенной веселости».

Так берется нечто едва уловимое, но вполне реальное, заряжается в машину самообмана, машина набирает обороты, и человек уже сам не видит, что стал жертвой галлюцинации...

*(«Машина набирает обороты»)*

Итак, моя машина самообмана набирала обороты...

Ранней юности свойственно (и в этом ее беда) верить в то, что достаточно избрать своим кумиром Дьявола – и он исполнит все твои желания.

Как бы то ни было, настало время сделать шаг навстречу реальной жизни. Какими предварительными знаниями о ней я располагал? Я прочел невероятное количество романов, проштудировал том «Энциклопедии половой жизни», рассматривал с приятелями порнографические открытки, в походе у костра слушал «неприличные истории» – довольно невинного, впрочем, свойства. Вот, пожалуй, и весь баланс моих знаний. Но зато мной владело жгучее любопытство, лучший спутник для долгого путешествия. Оснащенный своей «машиной самообмана», я готов был отправиться в путь.

Благодаря старательному чтению романов я досконально знал, что именно должен говорить и чувствовать мой сверстник, вступая на дорогу жизни. Я никогда не жил в пансионе, в обществе других детей, не занимался в спортивной секции; к тому же в нашей привилегированной гимназии было полным-полно ханжей и снобов – после того, как мы переросли невинную игру в «похабника», «низменные проделки» стали считаться дурным тоном. Прибавьте еще мою невероятную скрытность и замкнутость – стоит ли удивляться, что я понятия не имел об истинных помыслах и желаниях своих товарищей?! Зато я твердо знал, что теоретически должен чувствовать и думать подросток, находясь наедине с собой.

Моих ровесников (с которыми, кроме уже упомянутого жгучего любопытства, меня ничто не объединяло) как раз посетила невеселая пора созревания. Мальчишки постоянно думали только об одном, исходили прыщами, а их одурманенные мозги порождали на свет божий невероятное количество сладеньких стишков о любви. Одни медицинские энциклопедии утверждали, что онанизм наносит непоправимый ущерб психике и здоровью; другие успокаивали – ничего особенно ужасного. Мальчишки больше верили последним и самозабвенно предавались рукоблудию. Но ведь и я тоже! Обманывая сам себя, я помнил только об этом чисто внешнем сходстве, совершенно не учитывая различия в природе наших вожделений.

Я заметил, что само слово «женщина» действовало на моих товарищей возбуждающе. По краске стыда, заливавшей их лица, я догадывался, когда именно произносят они его

мысленно. Однако для меня слово «женщина» звучало не более соблазнительно, чем «карандаш», «автомобиль» или «метла». Во время беседы я иногда попадал впросак, как в случае с матерью Катакуры, и чувствовал, что говорю со своими сверстниками на разных языках. Они, впрочем, относились ко мне снисходительно – я у них слыл за «поэта». Но мне вовсе не хотелось быть поэтом (отчасти потому, что эта людская разновидность без конца путалась с женщинами), поэтому, желая не отставать от одноклассников, я научился имитировать их реакции.

Я не знал тогда, что отличен от них не только душевным своим устройством, но и в некоторых внешних, физиологических проявлениях. К примеру, достаточно было любому из них увидеть фотографию голой женщины (оставляющую меня абсолютно равнодушным), и у подростка моментально происходила эрекция. Зато образы, возбуждавшие меня (каждый из них тщательно отбирался моим извращенным воображением), – скажем, статуя ионического юноши – не способны были бы обратить на себя их внимание.

Во второй главе своего повествования я не случайно столько внимания уделил феномену эрекции. Дело в том, что мой самообман в немалой степени строился на полнейшем невежестве в этом вопросе. Ведь ни в одном из описаний романтического поцелуя, которыми изобиловали прочитанные мной любовные романы, не говорилось о том, что в момент лобзания у мужчины происходит эрекция. Это ведь естественно – в романах о таком не пишут. Но даже в медицинской энциклопедии не было ни слова о связи эрекции с поцелуем. Я пребывал в твердой уверенности, что сие явление наблюдается либо непосредственно перед совокуплением, либо во время эротических фантазий. Поэтому я ничуть не сомневался: в нужный момент эрекция случится сама собой, безо всякого влечения к женщине, – как естественный дар небес. Где-то в тайниках души копошился червь сомнения, нашептывавший, что именно со мной, единственным из всех людей, этого как раз может и не произойти. Смутные подозрения такого рода были источником постоянного беспокойства, одолевавшего меня по самым разным поводам. Хоть раз, предаваясь своей «дурной привычке», представил я себе женские прелести – пусть бы из научного интереса? Нет, ни разу. И при этом, хотите верьте, хотите нет, я относил подобное упущение на счет своей *лености*.

Я не знал одной очень важной вещи. Все прочие подростки по ночам видели во сне женщин – тех самых, кого они днем встретили на улице. Перед их взором прекрасными медузами, плавающими по волнам ночного моря, колыхались девичьи груди. Некая часть женской анатомии, шевеля влажными губами, пела нескончаемые песни, словно сладкоголосая сирена...

Неужто виновата одна только лень, вновь и вновь спрашивал я себя. Я всегда был у жизни прилежным и старательным учеником, но все мое усердие расходовалось на защиту этой иллюзии: да, я просто слишком ленив, и больше ничего. Веря в это, я мог ощущать себя в безопасности.

Для начала я решил собрать воедино все свои воспоминания и переживания, связанные с женщинами. Коллекция получилась весьма скудная.

Например, такой эпизод. Мне было лет тринадцать-четырнадцать. Мы большой компанией провожали отца, уезжавшего в служебную командировку в Осаку, и на обратном пути с вокзала все родственники зашли к нам домой. Среди них была моя троюродная сестра Сумико, девушка девятнадцати лет.

Передние зубы у нее были крупноватые, но зато удивительно белые и ровные. Она, очевидно, прекрасно знала это и сама, ибо все время, по поводу и без повода, улыбалась, сверкая своими ослепительными зубами. Они едва заметно выдавались вперед, и это придавало улыбке какое-то особое очарование. Легкий дефект, как бы намек на дисгармонию, капелькой терпких духов приправлял безупречность лица и фигуры, делал красоту кузины немного пряной и оттого еще более совершенной.

Вряд ли чувство, которое вызывала во мне Сумико, можно было назвать любовью, но, во всяком случае, она мне нравилась. Я еще с самого раннего детства любил исподтишка наблюдать за ней. Помню, как-то раз я целый час просидел с ней рядом, просто смотря, как она вышивает по шелку.

Мать, тетя и остальные вышли из гостиной в другую комнату, а мы с Сумико остались. Возбуждение после шумных проводов еще не прошло. Мы молчали. Почему-то я чувствовал себя очень усталым.

– Ой, как же я устала, – зевнула Сумико, прикрыв рот изящными белыми пальчиками, и еще несколько раз похлопала себя по губам, словно выполняя какой-то магический ритуал. – А ты, Кими, не устал?

Тут она неожиданно закрыла лицо рукавами кимоно и опустила голову мне на колени. Устроилась поудобнее, лицом кверху, и затихла.

Мои форменные брюки чуть не засияли от гордости – ведь им выпала честь стать подушкой для затылка Сумико! Я вдыхал аромат ее духов и пудры, а Сумико смотрела куда-то в сторону ясными, усталыми глазами. Помню, я был в полном замешательстве...

Вот, собственно, и все. Мои колени еще долго помнили восхитительную тяжесть головки Сумико. Роскошное было чувство, хоть совсем и не эротическое – как будто ощущаешь тяжесть ордена на груди.

Вот еще одно воспоминание. По дороге из гимназии домой я часто встречал в автобусе одну бледную девушку, чье холодное и неприступное лицо пробуждало во мне интерес. Она всегда сидела, глядя в окно с видом скучающим и высокомерным. Обращали на себя внимание ее полные, но какие-то очень жесткие губы. Когда я входил в автобус и видел, что девушки нет, мне уже чего-то не хватало. Вскоре я поймал себя на том, что заранее волнуясь – окажется она в автобусе или нет. Наверное, это и есть любовь, подумал я.

Я не имел ни малейшего представления о том, как связаны друг с другом любовь и чувственное желание. Дьявольский соблазн, исходивший от Оми, мне в ту пору и в голову не пришло бы назвать любовью. Кстати говоря, именно в тот период, когда я полагал, что *люблю* бледную девушку, я заглядывался и на шофера автобуса, грубоватого парня с сияющими от бриллиантина волосами. По наивности и невежеству я не усматривал здесь никакого противоречия. Когда я смотрел на молодого шофера, меня охватывало мучительно-тягостное, удушающе-неодолимое чувство; во влечении же к бледной девушке было что-то искусственное, нарочитое, непрочное. Обе эти чисто созерцательные влюбленности превосходно уживались во мне, ничуть друг другу не мешая.

Читатель, безусловно, скажет, что во мне напрочь отсутствовали и нравственная чистота, свойственная ранней юности, и то, что называется духовностью. Можно было бы, конечно, объяснить этот дефект присущим мне от природы неистовым любопытством,

плохим спутником нравственности, если бы мое любопытство не было сродни отчаянной любви, которую испытывает к жизни тяжелобольной человек, если бы в глубине души я не был твердо уверен в безнадежности этой страсти... Именно такое сочетание – на уровне подсознания – уверенности и отчаяния придавало моим чувствам и желаниям необычайную остроту.

Несмотря на свой нежный возраст, я не представлял себе, что такое платоническая любовь. Было ли это моим несчастьем? Возможно. Но что значат для меня обычные человеческие несчастья? Смутная тревога, которую вселял в меня зов плоти, привела к тому, что я стал невосприимчив ко всему, не связанному с чувственностью. На самом деле мой интерес по своей сути был не так уж далек от духовного импульса, именуемого «жаждой знаний», но я уверял себя, что мной владеет один лишь голос тела. Со временем я даже проникся убеждением, что обладаю душевным устройством законченного развратника. Поэтому, оставаясь физически невинным, я воображал себя человеком бывалым и искушенным. У меня был такой вид, будто я сполна вкусил женской любви и пресытился ею.

К этому периоду относится мое страстное увлечение идеей поцелуя. Теперь я понимаю, что этот нехитрый ритуал стал для меня тогда своего рода фетишем, символом успокоения и пристанища, к которым стремилась моя душа. Но юношей я ошибочно почитал свою одержимость поцелуем за проявление полового инстинкта, а подобная иллюзия требовала наложения на собственную душу изрядного слоя грима. Втайне я чувствовал, что играю с самим собой в нечестную игру, но от этого лицедействовал еще усерднее. И все же сегодня я спрашиваю себя: неужто возможно, чтобы человек до такой степени самозабвенно изменял своей природе – хотя бы на одно только мгновение?

Если так не бывает, чем объяснить загадочное устройство нашей души, подчас заставляющее стремиться к тому, чего нам на самом деле не хочется? Меня можно было назвать антиподом человека нравственного, который, наоборот, *не* стремится к тому, чего ему очень хочется. Значит ли это, что моя новая идея была верхом безнравственности? Но для столь внушительного определения она представлялась слишком непритязательной... Быть может, я вообще совершенно неправильно оценивал свои мотивы и был всего-навсего пленником условностей? Придет время, и я уже не смогу уходить от ответов на эти вопросы.

С началом войны по стране прокатилась волна ханжеского стоицизма. Достигла она и стен нашей гимназии. С каким нетерпением ждали мы дня, когда станем старшеклассниками и наконец получим право носить длинные волосы! Увы, этим надеждам не суждено было осуществиться. Ушли в прошлое и вольности с яркими носками. Все больше уроков отводилось под военную подготовку; что ни день, появлялись очередные новшества, одно нелепее другого.

К счастью, наша гимназия имела долгую и славную традицию устраивать показуху, ничего не меняя по сути. Поэтому реформа системы школьного образования нашу повседневную жизнь переменяла не так уж сильно.

Прикомандированный к гимназии армейский полковник оказался человеком разумным, да и его помощники – прапорщики Дубина, Курносый и Сюсю (последний получил такое прозвище за свой северный пришепетывающий выговор) быстро сориентировались в ситуации. Директор гимназии, из отставных адмиралов, обладал нравом мягким, даже женственным, но зато имел хорошие связи при дворе, а потому мог себе позволить держать нейтральную линию и ни во что не ввязываться.

Тем временем в моей жизни происходило кое-что новое – я научился курить и пить вино. Точнее, делать вид, что курю, и прикидываться, будто с удовольствием выпиваю. Военная пора делала всех нас по-особенному сентиментальными. Казалось, что в двадцать, самое позднее в двадцать пять лет каждому из нас суждено умереть; на более поздние времена никто планов не строил. Поэтому к жизни мы относились необычайно легко. Она представлялась нам похожей на соленое озеро, которое по прошествии двадцати лет само собой обезвоживается, и тогда густо просоленная вода выталкивает тело плавающего на поверхность.

Я тоже считал, что до финального акта осталось недолго, и разыгрывал свой моноспектакль с неослабевающим старанием. Каждый день я говорил себе: «Все, завтра начинаю свое путешествие в настоящую жизнь». Но поход без конца откладывался, год шел за годом, и ничего не менялось. Быть может, то была счастливейшая пора моей жизни. Всегдашняя тревога никуда не исчезла, но отступила на задний план; меня переполняли мечты и желания; завтрашний день манил своими неведомыми синими небесами. Я фантазировал о радостях и опасностях предстоящего путешествия, о чудесном преображении, которое со мной непременно произойдет, о прекрасной невесте, о грядущей славе. Мечты были аккуратно рассортированы и разложены, как вещи в чемодане – путеводители, полотенца, зубная щетка и паста, свежие рубашки, носки, галстуки. Все вызывало во мне какую-то детскую радость, даже война. Я по-прежнему верил, что не почувствую боли, когда упаду, сраженный пулей. Предвкушение смерти наполняло мое существо трепетом неземной радости. Мне казалось, что я владею всем миром. И неудивительно – человек больше всего увлечен путешествием, когда готовится к нему. Он богат мечтами и ожиданиями, но стоит отправиться в путь, и начнутся разочарования – богатство будет растрачено. Вот почему путешествия всегда так бесплодны.

В конце концов моя страстная мечта о поцелуе сконцентрировалась на вполне определенной паре губ. Возможно, причиной тому было желание придать своей заветной идее более пристойный вид. Я уже говорил, что поцелуй никак не связывался у меня с чувственным желанием, я заставлял себя верить, что одно неотрывно от другого. Иными словами, за влечение к женщине я принимал свое неистовое желание обладать этим недоступным мне видом вождения. Я попросту *хотел быть собой*, и этим страстным, но неосуществимым желанием пытался подменить инстинкт, рождающийся в нормальном человеке самым естественным образом.

У меня завелся один приятель, с которым мы неплохо ладили, хотя говорить друг с другом нам было почти не о чем. Этого недалекого и легкомысленного парня, учившегося со мной в одном классе, звали Нукада. Скорее всего, он подружился со мной из вполне практических соображений – чтоб я помогал ему учить немецкий язык, который Нукаде никак не давался. Этот предмет у нас появился совсем недавно, а я всегда относился к чему-то новому с энтузиазмом, поэтому считался по немецкому лучшим учеником. Возможно, Нукада интуитивно угадал, до какой степени мне отвратительна репутация отличника, который чем-то похож на монашка или студента-богослова; мне же всегда ужасно хотелось прослыть отчаянным хулиганом (и это притом что ярлык отличника как нельзя лучше оберегал и защищал меня от разоблачения). Дружба с Нукадой тешила мое самолюбие – даже самые отъявленные хулиганы в гимназии относились к нему с завистливым почтением.

И еще я чувствовал, что Нукада, как медиум на спиритическом сеансе, способен связать меня с потусторонним миром женщин.

Первым посредником такого рода для меня был Оми. Но в те времена я еще не разучился быть самим собой и просто числил это качество своего кумира в ряду прочих его совершенств. С Нукадой дело обстояло иначе – он вызывал во мне такое жгучее любопытство именно потому, что казался идеальным «медиумом». Вероятно, это объяснялось еще и тем, что он был некрасив.

Однако вернемся к уже упомянутым губам. Они принадлежали старшей сестре Нукады, которую я встретил у него дома.

Эта двадцатичетырехлетняя красотка, конечно же, обращалась со мной как с ребенком. Наблюдая, как за ней увиваются многочисленные ухажеры, я понял, что не могу рассчитывать на успех у женщин.

Тогда-то до меня и дошло, во-первых, что мне никогда не суждено стать таким, как Оми, и, во-вторых, что чувство, породившее во мне подобное желание, и называется «любовь».

Тем не менее я остался убежден, что влюблен в сестру Нукады. Как и положено нормальному гимназисту моего возраста, я бродил вокруг дома «той, которую любил»; часами торчал в близлежащем книжном магазине, дожидаясь, когда она выйдет на улицу, стискивал в объятиях подушку, представляя, что это моя избранница; без конца рисовал контур ее губ и вслух разговаривал сам с собой, словно совсем потерял рассудок от страсти.

И что же все это мне дало? Вымученные потуги разыграть влюбленного приводили к тому, что я постоянно находился в состоянии какого-то странного, отупляющего изнеможения. Сердце мое отлично чувствовало фальшь неустанных самоуверений, будто я сгораю от любви к женщине, и протестовало по-своему – непреходящей злокачественной усталостью. А душевное утомление таило в себе опасный яд. Временами от всей этой натужной суеты на меня накатывали приступы такой тоски, что избавиться от нее можно было, лишь отдавшись во власть фантазий совсем иного рода. И тут происходило чудо: я оживал на глазах, становился самим собой и воспламенялся, рисуя себе разные причудливые картины. Возбуждение, вызванное этим пламенем, проходило не сразу, обретало абстрактный характер, и вскоре я, умелый интерпретатор, убеждал себя, что сгораю от любви к сестре Нукады... Так я обманывал себя вновь и вновь.

Меня могут упрекнуть, что мой рассказ слишком изобилует отвлеченными рассуждениями и беден описаниями. Отвечу на это, что вовсе и не собирался рисовать внешнюю канву своей жизни, ибо она ничем не отличалась от бытия любого другого подростка. Если исключить некий участок души, хранивший в себе мою постыдную тайну, я ничем не отличался от своих нормальных сверстников – как внешне, так и внутренне. Представьте себе самого обычного гимназиста, причем отличника: в меру любознателен; в меру честолюбив; немного замкнут, но это следствие склонности к размышлениям; легко краснеет, как всякий юноша, недостаточно красивый, чтобы пользоваться успехом у девушек; запоем читает книги. Остается добавить, что этот гимназист все время думает о женщинах, что грудь его пылает огнем, что он постоянно изводит себя бесплодными терзаниями. Что может быть проще и прозаичнее подобного описания? Так не сетуйте, если я опускаю все эти скучные, шаблонные подробности. Нет ничего бесцветнее и тоскливее этого периода в жизни среднего, нормального юноши – а именно такую роль я играл,

покаявшись хранить верность неведомому постановщику своего спектакля.

Если в прежние времена меня тянуло лишь к подросткам, бывшим несколькими годами старше, то теперь меня стали волновать мальчики из младших классов. Впрочем, и они были уже в возрасте моего незабвенного Оми. Эта переориентация сопровождалась изменением более глубинного свойства. Разумеется, как и прежде, я хранил свои пристрастия в тайне, но раньше в моей любви преобладала тоска по грубости и силе, теперь меня влекли изящество и нежность. Я рос, и во мне естественным образом зрела потребность любить и оберегать существо более юное, чем я.

По классификации Хиршфельда, гомосексуалисты делятся на две категории: андрофилы, тянущиеся к мужчинам старшего возраста, и эфебофилы, которых привлекают лишь мальчики и юноши. Я ощущал явную склонность к эфебофилии. «Эфебами» называли греческих юношей в возрасте от восемнадцати до двадцати лет, проходящих военную выучку. Слово это происходит от имени Гебы, жены бессмертного Геракла, дочери Зевса и Геры. Геба, наполнявшая нектаром кубки обитателей Олимпа, считается богиней юности.

В первый из старших классов нашей гимназии недавно поступил очень красивый семнадцатилетний юноша – белолицый, с нежной линией рта и точеными бровями. Я знал, что его зовут Якумо. Прекрасный облик новичка не оставил меня равнодушным.

И вот этот Якумо, сам о том не ведая, стал делать мне чудесные подарки. Дело в том, что звеньевые выпускного класса (в том числе и я) должны были поочередно дежурить – то есть проводить утреннее построение и поверку перед гимнастикой, а также послеобеденное «боевое занятие» с младшими классами («боевым занятием» у нас назывался ежедневный ритуал, в ходе которого гимназисты сначала полчаса делали строевые упражнения, а потом серпами срезали траву на газонах или рыли бомбоубежище). Каждую четвертую неделю выпадала моя очередь дежурить. В теплое время года гимнастику и строевые упражнения полагалось делать «с голым торсом» – даже наша чопорная гимназия вынуждена была подчиняться спартанскому духу времени.

Утром дежурный звеньевой поднимался на возвышение, проводил поверку и отдавал приказ: «Раздевайсь!» Гимназисты снимали куртки и рубашки, а дежурный уступал место на возвышении инструктору по гимнастике, командовал: «Смирно!» – и бежал на свое место в строй – выпускной класс всегда стоял в самой последней шеренге. Тут полагалось быстро раздеться и делать гимнастику вместе со всеми – утренние обязанности дежурного считались исполненными.

Поначалу я леденел от ужаса при одной мысли, что мне придется громогласно отдавать команды, но вскоре я сообразил, что весь этот строгий ритуал разработан словно специально по моему заказу, и уже с нетерпением ждал очередной недели дежурства. Ведь я мог спокойно, на совершенно законном основании, любоваться полуобнаженным телом Якумо, сам при этом оставаясь одетым и не выставляя напоказ свою тщедушную анатомию.

Якумо обычно стоял прямо перед возвышением, в первом или втором ряду, щеки его розовели нежным румянцем. Грудь моего Гиацинта тяжело вздымалась – он прибежал на построение в последнюю минуту и не успевал отдышаться. Очаровательно отдуваясь, Якумо рвал на груди пуговицы кителя, выдергивал из брюк полы белой рубашки, а я стоял прямо над ним и упивался зрелищем его нежного тела, обнажаемого с такой восхитительной небрежностью. Кто-то из моих приятелей сказал мне однажды: «Ты чего все время вниз смотришь? Трусишь на виду у всех стоять?» От этого невинного вопроса я прямо оцепенел.

Но приблизиться к розовому телу юного красавца мне было не суждено.

Летом всех старшеклассников на неделю отправили в военно-морское инженерное училище на практику. И вот однажды всех нас отвели в бассейн на занятие по плаванию. Плавать я не умел, а потому, сославшись на расстройство желудка, попросил освободить меня от урока. Но капитан, проводивший занятие, заявил, что солнечные ванны – лучшее лекарство от всех болезней, и заставил симулянтов вроде меня тоже раздеться. Тут я увидел, что и Якумо – среди освобожденных от плавания. Он стоял, сложив мускулистые руки на загорелой груди, грелся на солнышке и задумчиво покусывал белыми зубами нижнюю губу – как будто дразнился. Поскольку вся симулянтская братия собралась в одном месте, под деревом, я без труда подобрался к Якумо поближе и впился глазами в его стройную талию и нежно вздымающийся в такт дыханию поджарый живот. Мне вспомнились строки Уитмена:

Юноши плавают на спине,  
Подставляя солнцу белые животы.

Но я не осмелился заговорить с Якумо – мне было стыдно своих тощих рук и цыплячьей груди.

В сентябре сорок четвертого, то есть за год до конца войны, я окончил гимназию, где прошла большая часть моей жизни, и поступил в университет. Отец настоял, чтобы я учился на юридическом факультете, – моего мнения на сей счет никто не спрашивал. Впрочем, я не возражал, пребывая в твердой уверенности, что вскоре меня все равно призовут на войну, где мне суждено быть убитым, а мой дом и моя семья непременно погибнут во время очередного воздушного налета.

Студенческая форма досталась мне по наследству от одного призывника – так тогда было принято. Я пообещал, что, когда наступит время уходить в армию мне, я верну студенческий мундир его домашним.

Я до смерти боялся воздушных налетов, но при этом думал о своей неминуемой гибели со сладостным предвкушением. Ведь я уже говорил, что будущее всегда представлялось мне тяжким испытанием. Жизнь с самого начала давила на меня бременем чувства долга. Было ясно, что ноша эта выше моих сил, но жизнь вновь и вновь корила меня за пренебрежение долгом. О, каким наслаждением было бы подставить жизни подножку, именуемую смертью! В военные годы вошло в моду упоение гибелью на поле брани, и я сочувствовал этому поветрию всей душой. Если б мне посчастливилось пасть «смертью героя», столь мало приличествующей моей скромной особе, я бы лежал себе в могиле и злорадно посмеивался над одуроченной жизнью. Однако если раздавался рев сирены, я быстрее всех мчался в бомбоубежище.

Где-то в доме дребезжало расстроенное пианино.

Я был в гостях у жившего по соседству приятеля, который в скором времени должен был поступить в офицерское училище. Его звали Кусано, и я высоко ценил нашу дружбу, ибо в старших классах он был единственным, с кем я мог разговаривать о возвышенных материях. Надо сказать, что мне всегда было трудно обзаводиться друзьями. Тем нелепее и

непростительнее импульс, заставлявший меня иногда наносить этим так мучительно устанавливаемым отношениям непоправимый ущерб.

Я спросил:

– Кто там играет? По-моему, не очень складно выходит.

– Это сестренка, – ответил Кусано. – Учитель задал ей гаммы разучивать.

Мы немного послушали. Поскольку моему другу предстояло вскоре покинуть отчий дом, он, вероятно, не просто слушал игру на пианино, а мысленно прощался с утомительным, временами несносным, но таким красивым образом жизни, который называется «повседневностью».

В звуках пианино было что-то трогательное, как в домашнем печенье, испеченном неопытной хозяйкой по кулинарной книге.

– А сколько ей лет? – не удержался я.

– Семнадцать. Она после меня самая старшая.

Я представил себе полудетские пальцы, робко касающиеся клавиш, и саму семнадцатилетнюю девушку – мечтательную, еще не успевшую осознать собственную красоту. Мне хотелось, чтобы она разучивала свои гаммы целую вечность.

И моя просьба была услышана. С того дня миновало пять лет, но у меня в ушах и поныне звучит голос расстроенного пианино. Много раз я уверял себя, что это галлюцинация; мой разум, моя слабость смеялись над столь нелепым самообманом. И все же те гаммы заняли прочное место в моей душе, стали для меня голосом судьбы, рока (я не имею в виду зловещий оттенок, которым обладает это последнее слово).

Совсем незадолго до того дня я уже задумывался о странном смысле слова «судьба». В день церемонии окончания гимназии наш директор, старенький адмирал, повез меня на своем автомобиле во дворец, на аудиенцию к императору. Глядя на меня своими слезящимися глазками, старик сетовал, что я отказался поступать в офицерское училище, а решил дожидаться призыва. Он говорил, что с моим слабым здоровьем мне не выдержать солдатской жизни.

– Мне это известно, – ответил я.

– Нет, молодой человек, вы так говорите по незнанию. Да чего уж теперь – все равно поздно. Такова уж, видно, ваша судьба.

Последнее слово он произнес по-английски, и я не сразу понял.

– Что?

– Destiny. Такова уж твоя destiny, – повторил адмирал с напускным равнодушием, боясь показаться сентиментальным стариком.

Сестру Кусано я видел и раньше, но мельком – у них в семье был принят весьма строгий тон, не то что в доме Кунады, и при виде постороннего все три девочки немедленно удалялись, оставляя позади себя легкий шлейф из застенчивых улыбок.

Теперь, когда до отъезда моего товарища оставались считанные дни, мы стали бывать друг у друга гораздо чаще, остро ощущая надвигающуюся разлуку. После эпизода с гаммами я держался со старшей из его сестер очень скованно. Мне было неловко смотреть ей в глаза и обращаться к ней напрямую, словно я ненароком выведал какую-то ее тайну. Когда она приносила нам с Кусано чай, я опускал взгляд и смотрел лишь на ее легко переступающие ноги. В те времена большинство женщин носили штаны или бесформенные шаровары,

поэтому непривычный вид девичьих ножек поражал меня своей красотой.

Впрочем, не подумайте, будто я испытывал в этой связи какое-то чувственное волнение. Вовсе нет. Я уже говорил, что прелести противоположного пола в этом смысле оставляли меня совершенно равнодушным. Мне, например, и в голову не пришло бы воображать сестру Кусано голой. Но при этом я всерьез мечтал о любви к женщине. Когда же опустошающая усталость, о которой я уже говорил, гнала эти мечты прочь, я испытывал гордость, считая, что рассудок преобладает у меня над чувствами. Вымученность и холодность своих умопостроений я принимал за пресыщенность видавшего виды ловеласа, ощущая удовлетворение от собственной «взрослости». Со временем мои душевные перепады обрели строгую цикличность и отработанностью своей механики напоминали торговый автомат: бросаешь монету – и тут же выскакивает конфетка.

Я решил влюбиться в какую-нибудь девушку, отказавшись от физического желания. Наверное, это был наиабсурднейший замысел за всю историю человечества. Сам о том не подозревая, я взялся совершить в теории любви поистине коперниковский переворот (прошу у читателя прощения за такое сравнение – ничего не поделаешь, люблю громкую фразу). Тем самым я становился адептом платонической любви, о которой в ту пору еще не слыхивал. Я поверил в нее всей душой, искренне и чисто, хотя, знаю, тут есть противоречие со сказанным выше. Может быть, именно в чистоту-то я и поверил? Может быть, это ей я поклялся в верности? Но к этому мы еще вернемся.

Если временами казалось, что я разочарован в платонической любви, причиной тому был мой рассудок, склонный сводить все к плотскому чувству (которое на самом деле отсутствовало). Это – и еще пресловутая усталость, вызванная болезненным желанием воображать себя взрослым. Иными словами, виной подобным колебаниям было мое извечное беспокойство.

Война близилась к концу. Мне шел двадцать первый год. На исходе зимы всех студентов нашего университета отправили работать на авиационный завод. Большинство моих соучеников встали к станкам, а самых хилых вроде меня посадили в канцелярию. Но армейскую медкомиссию я все-таки прошел, получив категорию «ограниченно годен», и со дня на день ждал призывной повестки.

Авиационный завод располагался на широкой, окутанной желтой пылью равнине. Чтобы пересечь его территорию из конца в конец, требовалось минут тридцать, не меньше. Кругом кипела лихорадочная деятельность – ведь на заводе работали тысячи людей. Я стал одним из них, получив свой регистрационный номер (4409) и удостоверение временного служащего (№ 953).

Гигантское это предприятие представляло собой мистический организм, трудившийся не ради прибылей, а ради чудовищной пустоты. Очевидно, именно поэтому каждая смена начиналась с ритуального патриотического камлания. В жизни не видел более странного завода. Новейшая технология, современнейшая организация производства, слаженная работа множества талантливых людей были направлены на одну-единственную цель – службу смерти. На заводе производили штурмовики «зеро», предназначенные для эскадрилий камикадзе, а посему огромное предприятие напоминало храм какой-то неутомимой и зловещей секты; его стены беспрестанно оглашались душераздирающим скрежетом, грохотом и стенаниями. Я не представлял себе, что столь грандиозный ритуал может осуществляться без некой религиозной цели. Во всяком случае, заводское начальство так

важно носило свои толстые животы, что вполне сошло бы за жрецов. Время от времени раздавался вой сирены, извещающая о часе богослужения, о черной мессе этого зловещего культа.

В канцелярии начиналась суматоха. Служащие с тревогой спрашивали друг друга, по-деревенски растягивая гласные: «Что случилось-то, а-а?»

Репродуктора у нас в комнате не было. Вскоре появлялась секретарша из приемной директора и объявляла: «Несколько эскадрилий вражеских самолетов движутся в нашем направлении!» Затем по заводской трансляционной сети передавали приказ отправить студенток и школьников в бомбоубежище. Сотрудники медслужбы обходили цеха и отделы, раздавая красные бирки со штампом «Жгут наложен в...часов...минут». Если кто-то будет ранен, бирку положат ему на грудь после остановки кровотечения.

Минут через десять поступал новый приказ: всем покинуть рабочие места и отправляться в бомбоубежище.

Мы подхватывали ящики с важной документацией и поспешно волокли их вниз, в подземное хранилище. Потом предстояло еще снова подняться наверх и бежать через широкий плац – догонять рабочих, со всех ног несшихся к главным воротам. Толпа людей в касках и шлемах выбегала на желтое песчаное поле шириной метров восемьсот. На противоположном его конце был невысокий лесистый холм, весь изрытый противоздушными щелями. Туда-то и устремлялась по двум окутанным пылью дорогам молчаливая, злая и слепая толпа – прочь от смерти, туда, где нас ждали ямки, вырытые в красной глинистой земле. Ямки эти никого защитить не могли, но лучше было спрятаться в них, чем оставаться во владениях Смерти.

В один из редких выходных я заехал домой и той же ночью получил телеграмму: пятнадцатого февраля мне предписывалось явиться на призывной пункт.

В свое время отец рассудил, что в городе таких хилых призывников, как я, полным-полно, поэтому лучше, если медицинскую комиссию я буду проходить не в Токио, а в сельской местности, где официально была прописана наша семья, – глядишь, и удастся отвертеться от армии.

И действительно, я немало повеселил врачей, когда едва оторвал от пола мешок с рисом, который крепкие деревенские парни шутя поднимали на вытянутых руках десять раз. Тем не менее я был признан «ограниченно годным». И вот теперь мне предстояло служить в захолустной части, среди грубых и невежественных людей.

Мать плакала навзрыд, да и отец заметно сник. У меня новость тоже, прямо скажем, энтузиазма не вызвала, но я как-никак надеялся на героическую смерть, а потом уверил себя, что все складывается наилучшим образом.

В поезде мне стало худо – я еще на заводе сильно простудился. Когда же я добрался до дома знакомых (свою землю в родных краях наше обанкротившееся семейство давно продало), то и вовсе слег с высокой температурой. Но хозяева меня усиленно лечили, пичкали жаропонижающими лекарствами и отправили-таки на призывной пункт.

Там действие таблеток кончилось, и меня снова бросило в жар. Я стоял перед призывной комиссией в чем мать родила, словно выставленный на всеобщее обозрение зверь, переступал с ноги на ногу и все время чихал. Молоденький военный врач принял хрипение моих простуженных бронхов за легочные шумы. Я еще и нарочно преувеличил свое болезненное состояние, после чего был отправлен на анализ крови. Из-за высокой

температуры результат получился убийственный: врач объявил, что у меня туберкулез, и велел немедленно возвращаться домой.

Выйдя из ворот части, я припустился бегом по склону холма, у подножия которого располагалась деревня. Стоял ветреный зимний день. Как и на заводе во время тревоги, ноги проворно несли меня прочь от опасности – не важно куда, лишь бы подальше от смерти...

В ночном поезде сквозь разбитые окна дул холодный ветер. Я трясся в ознобе и маялся головной болью. Куда теперь ехать, спрашивал я себя. В родительский дом, где царят тревога и страх? Из-за отцовской нерешительности наша семья все никак не могла эвакуироваться и оставалась в Токио. Неужели придется вернуться в этот город, исполненный мрачной тоски? К людям, словно стадо баранов, без конца блеющим одно и то же: «А может, обойдется? А может, обойдется?» Или податься в заводское общежитие, к чахоточным студентам с их унылыми, безвольными лицами?

Отошедшая деревянная обшивка сиденья елозила под моей спиной в такт покачиванию вагона. Я подумал: а вдруг в наш дом попадет бомба и мы все погибнем? Закрыв глаза, представил себе эту картину. Невыразимое омерзение охватило меня – нет ничего отвратительнее соединения смерти с обыденностью. Даже кошка, чувствуя приближение смерти, уползает в какой-нибудь укромный угол, чтобы никто не видел, как она умирает. Меня затошнило от одной мысли, что я увижу гибель своей семьи или сам умру у нее на глазах. Когда я представил себе, как Смерть наносит визит всему семейству, как мать, отец, дети, охваченные единственным предсмертным чувством, обмениваются последними взглядами, мне показалось, что по аляповатости, пошлости и безвкусице эта картина не уступит какой-нибудь литографии из цикла «Семейный мир и уют». Нет, я хотел умереть иначе – ясно и светло, среди чужих людей. Но не об античной гибели на манер Аякса Теламонида, желавшего «умереть под бескрайним небом», я мечтал. Мне грезилось нечто вроде произвольного, как бы случайного самоубийства. Так гибнет юная, еще совсем глупая лисица, безмятежно бегущая по горной тропе – прямо на охотника...

Разве не идеальную возможность именно так встретить смерть дала бы армейская служба? Ведь я сам рвался на войну! Зачем же тогда я так искусно врал о своих болезнях военному врачу? Зачем сказал, что у меня уже полгода держится невысокая температура, немеют плечи, случается кровохарканье, а не далее как минувшей ночью я проснулся весь в поту? (Еще бы – ведь накануне я наглотался аспирина.) Почему, когда врач объявил меня негодным к военной службе, я стиснул губы, чтобы они не расплылись в счастливой улыбке? Почему я вприпрыжку помчался прочь от полковых ворот? Разве не была разрушена моя заветная мечта? Ведь мне следовало бы не бежать, а брести, уныло повесив голову и едва переставляя ноги.

Вряд ли моя грядущая жизнь будет столь чудесной, чтобы ради нее стоило отказываться от прекрасной возможности умереть, каковую предоставляла мне армия. Я сам не понимал, какая сила заставила меня со всех ног мчаться подальше от казармы. Неужто я все-таки хочу жить? Причем жить бессмысленно, неосознанно, словно сломя голову несясь к противоздушной щели. В этот миг во мне зазвучал некий новый голос, сказавший, что на самом деле я никогда не хотел расставаться с жизнью. Меня захлестнула волна стыда. Это было болезненное осознание, но я не мог больше себя обманывать: вовсе не желание смерти влекло меня, когда я мечтал об армии. Меня толкал туда мой чувственный инстинкт. А подкрепляла его присущая каждому человеку первобытная вера в чудо – в глубине души я

твердо знал, что погибнет кто угодно, только не я...

Каким же мучительным стало для меня это открытие! Куда приятнее было бы считать, что Смерть не приняла, отринула меня. Сколь сладостно и мучительно было бы представлять себя человеком, от которого отвернулась даже Смерть! С такой же напряженной, но совершенно безучастной концентрацией нервной энергии работает, оперируя больного, хирург. Какого изысканного, почти кошунственного наслаждения я себя лишил!

Наш университет что-то там не поделил с авиационным заводом, и в конце февраля всех студентов отозвали. В марте мы должны были ходить на лекции, а в апреле отправиться по трудовой мобилизации на другой завод.

Но в последних числах февраля вражеская авиация совершила на Токио массированный налет – чуть ли не тысяча бомбардировщиков. После этого стало ясно, что лекций в марте не будет. Так, в самый разгар войны, я получил целый месяц ненужных, бесполезных каникул. Ощущение было такое, будто мне подарили отсыревшую хлопушку. Но подобный ни на что не годный подарок был мне куда приятнее, чем что-нибудь скучное и практичное вроде лишнего мешка сухарей. Именно такого бестолкового дара и следовало ожидать от моей альма-матер. Как это было приятно – получить шикарно-бессмысленный подарок в такие времена!

Через несколько дней после того, как я оправился от своей простуды, позвонила мать Кусано. Мой приятель служил неподалеку от города М., и она хотела, чтобы девятого марта я поехал туда вместе с ней – у курсантов будет первое свидание с родными.

Я охотно согласился и сразу же отправился навестить семью моего друга, чтобы обговорить детали предстоящей поездки. В ту пору из-за налетов самым безопасным временем суток считался промежуток от наступления сумерек до восьми часов вечера.

В доме Кусано только что закончили ужинать. Отца у них не было – он умер. Меня пригласили к очагу, около которого уже сидели хозяйка и трое ее дочерей. Тут меня наконец познакомили с той, что играла на пианино. Ее звали Соноко.

Так же звали одну знаменитую пианистку, и я не удержался от ехидной шутки по этому поводу. Восемнадцатилетняя Соноко залилась краской (это было видно даже в тусклом электрическом освещении) и ничего не ответила. Я помню, что на ней была красная кожаная куртка.

Утром девятого марта я стоял на перроне, дожидаясь мать и дочерей Кусано. За железнодорожными путями бригада рабочих крушила лавочки, предназначенные на снос во избежание пожаров. Звонкий грохот разрушения далеко разносился в свежем воздухе ранней весны. Кое-где среди развалин жизнерадостно белели обнажившиеся деревянные доски.

Было холодно. Последние несколько дней сирена воздушной тревоги ни разу не раздавалась. Воздух сделался полированно-прозрачным и, казалось, натянулся тонко-тонко, того и гляди порвется. Как струна. И тогда раздастся громкий и щемящий стон. Вокруг царил безмятежная, гулкая пустота, как на концерте за несколько мгновений до взмаха дирижерской палочки. Даже в лучах холодного солнца, освещавшего перрон, ощущалось что-то вроде предчувствия музыки.

Тут я увидел, как по лестнице спускается Соноко, одетая в голубое пальто. Она вела за руку младшую из сестер, следя, чтобы та как следует ставила ноги на ступеньки. Еще одна

девочка, лет пятнадцати, которой явно наскучило столь медленное продвижение, скакала по лестнице то вверх, то вниз, не торопясь спускаться на перрон.

Соноко, кажется, меня еще не заметила. Я же видел ее как на ладони. Никогда еще девичья красота так не затрагивала мое сердце. Мне сдавило грудь, я почувствовал себя словно очищенным. Читатель вряд ли мне поверит – ведь может показаться, что между выдуманной, искусственной любовью к старшей сестре Нукады и этим сдавившим мне грудь восторгом никакой разницы нет. Читатель спросит: что же это на сей раз я не подверг свои чувства безжалостному анализу, как прежде?

Если вы и в самом деле так недоверчивы, значит писательство утратило всякий смысл. Неужто вы думаете, что я пишу из прихоти, как бог на душу положит, – лишь бы было складно? Уверяю вас, это не так: я очень точно помню, что Соноко пробудила во мне новое чувство, которого прежде я не испытывал. Это было раскаяние.

Когда до перрона оставалось всего несколько ступеней, она меня наконец заметила, и на ее раздумывавшемся от холода лице просияла улыбка. Большие черные глаза, из-за припухлых век всегда казавшиеся немного сонными, блеснули, словно Соноко хотела этим взглядом мне что-то сказать. Она велела средней сестре взять младшую за руку, а сама побежала мне навстречу, грациозная и невесомая, как солнечный луч.

Она спешила ко мне, и это было похоже на приближение утра. Соноко не имела ничего общего с женской плотью, о которой я столько лет насильно заставлял себя думать. Вот почему во мне даже не шевельнулась всегдашняя призрачная надежда. Я инстинктивно угадал, что Соноко какая-то совсем другая, и был этим озадачен. С чувством глубочайшего смирения я понял, что недостоин ее, но в этом ощущении почему-то не было ничего унижительного. Я смотрел на приближающуюся Соноко, и душа моя разрывалась от грусти. В жизни ничего подобного не испытывал. Грусть была такой острой, что вонзилась куда-то в самые глубины моего существа. До сей минуты я взирал на женщин с синтетическим, пластмассовым чувством, соединявшим в себе детское любопытство и фальшивое вожелание. И вот один-единственный взгляд – и мое сердце впервые содрогнулось от неведомой, необъяснимой скорби, не имевшей никакого отношения к моему обычному камуфляжу. Я знал, как называется это чувство: раскаяние. Однако разве я совершил какое-то преступление? Или – хоть это и звучит абсурдно – бывает раскаяние, предшествующее преступлению? Может быть, появление Соноко заставило меня пожалеть о том, что я вообще существую? А вдруг охватившая меня скорбь – это *предчувствие* преступления?

Но Соноко уже стояла передо мной. Она поклонилась, увидела, что я не реагирую, и поклонилась снова, еще старательней.

– Мы заставили вас ждать, да? Мама и бабуля (тут Соноко покраснела, стыдясь, что у нее сорвалось это детское слово)... еще не все собрали. Они немножко опоздают. Так что подождите еще чуть-чуть. – Она поправилась: – То есть, я хочу сказать, извините, но придется еще чуточку подождать. А если они задержатся, мы поедem и встретимся с ними прямо там, на вокзале, хорошо?

Соноко выпалила все это, волнуясь и запинаясь, и потом глубоко вздохнула. Она была девушкой довольно крупной, почти с меня ростом. У нее была замечательная, просто точеная фигура и очень стройные ноги. По-детски круглое ненакрашенное личико казалось символом невинной души, еще не обучившейся искусству косметики и грима. Губы немножко шелушились и от этого краснели еще ярче.

Отчаянно смущаясь, мы обменялись несколькими ничего не значащими фразами. Я изо

всех сил старался изображать веселого и остроумного кавалера, за что сам себе был ненавистен.

Несколько раз у перрона останавливались поезда, скрежеща тормозами, и вновь уносились прочь. Станция была не из больших, пассажиров здесь садилось и выходило совсем немного. Всякий раз подъехавшие вагоны на время заслоняли ласковое весеннее солнце. Когда же они отбывали, солнечные лучи с такой нетерпеливой нежностью опять касались моих щек, что я вздрагивал.

Все это было слишком роскошно: и обильный свет, лившийся с небес, и ощущение абсолютной душевной наполненности, – и поэтому мне показалось, что сейчас непременно произойдет что-нибудь ужасное. Например, начнется налет и прямо в нас попадет бомба. Даже совсем маленькое, короткое счастье было нам не к лицу. Да, у нас вошло в дурную привычку считать, что за самый крохотный кусочек блаженства непременно придется расплачиваться, причем дорогой ценой. Вот о чем я думал, стоя напротив Соноко и произнося какие-то неловкие, пустые слова. Наверное, и она испытывала примерно то же самое.

Ее мать и бабушка все не появлялись, поэтому в конце концов мы сели в одну из электричек и доехали до вокзала.

Там, в толчее и суматохе, нас окликнул один знакомый – некий господин Оба, сын которого служил вместе с Кусано. Это был пожилой банкир в строгом костюме и фетровой шляпе – в годы войны так уже почти никто не одевался. Его сопровождала дочь, которую, как выяснилось, Соноко хорошо знала. Меня почему-то безмерно обрадовало то, какой некрасивой выглядела эта девушка рядом с Соноко. Что означала моя радость? Я смотрел, как Соноко весело берет подругу за руку, как они болтают о всякой ерунде, и явственно видел в каждом ее движении печать ослепительной снисходительности – безошибочной приметы красоты, делающей юную девушку похожей на взрослую женщину.

Вагон, в котором мы ехали, оказался совсем пустой. Как бы по чистой случайности, мы с Соноко сели напротив друг друга, возле окна.

Банкир, кроме дочери, прихватил с собой еще и горничную. Я сразу сообразил: их трое да нас шестеро – на двух скамьях не поместимся, один будет лишним. Полагаю, что и Соноко это сообразила. Поэтому, усаживаясь отдельно от всех, мы обменялись озорной улыбкой.

Наш островок образовался самым естественным образом. Мать и бабушка Соноко, будучи дамами благовоспитанными, сели напротив Оба и его дочери. Младшая сестренка, которой хотелось попасть к окну, но при этом держаться поближе к маме, заняла следующую скамью. Средняя сестра присоединилась к ней, и девочки сразу же затеяли возню, а горничная сочла своим долгом сесть рядом, чтобы приглядывать за шалунями. Нас с Соноко от всей этой компании отделял ряд облезлых скамей.

Поезд еще не успел тронуться с места, а господин Оба уже твердо взял руль беседы в свои руки. Его негромкий женственный голос не утихал ни на секунду. Слушательницам оставалось только кивать и поддакивать. Даже бабушка, особа весьма энергичная и сама большая любительница поговорить, как-то сникла. Так что дамы были при деле – они едва успевали ахать и смеяться в нужных местах. Дочь банкира сидела тихо и рта не открывала. Наконец поезд отправился.

Когда вокзал остался позади, в вагон сквозь пыльные стекла хлынуло солнце, сначала

осветив все царапины и выбоинки на оконной раме, а потом перелившись на наши с Соноко колени. Мы сидели молча, прислушиваясь к болтовне банкира. Временами уголки ее губ трогала легкая улыбка, и я тут же начинал улыбаться сам. Наши взгляды встречались, но Соноко сразу же делала вид, будто увлечена разглагольствованиями господина Оба; ее весело и оживленно блестящие глаза ускользали от моих.

– Нет уж, если надо будет умирать, я отправлюсь на тот свет в своем обычном костюме, – говорил банкир. – Умирать в этом нелепом гражданском кителе и обмотках цвета хаки? Нет уж, увольте! Что это за смерть? Я и дочке запрещаю в штанах ходить. Если суждено, пусть погибнет в платье, как приличествует порядочной девушке.

– Ах, ах, – кудахтали дамы.

– И вот еще что – уже на другую тему. Когда соберетесь эвакуироваться, сообщите мне. Я помогу вам с багажом. Трудно обходиться без мужчины в доме. Так что милости прошу, не стесняйтесь.

– Большое спасибо.

– Мы приобрели складское помещение на горячих источниках в Т., и все служащие банка отправляют туда свой скарб. Место совершенно безопасное, уверяю вас. Можете и пианино туда перевезти.

– Огромное вам спасибо!

– Кстати говоря, командир вашего сына – очень порядочный человек, вам повезло. А вот про командира моего мальчика рассказывают, что он забирает себе часть передач, которые привозят курсантам родственники, представляете? Дикость какая! Говорят, наутро после дня свиданий у него всегда расстройство желудка.

Дамы захихикали.

Соноко опять неуверенно улыбнулась. Она достала из сумки книжку и принялась читать. Я немного расстроился, но мне было интересно, что это за книга.

– Что вы читаете?

С улыбкой Соноко показала мне обложку – словно веер перед лицом распахнула. Я прочел заглавие: «Ундина».

Я услышал, как сзади кто-то встал. Это мать Соноко направилась к своим расшумевшимся младшим дочерям. Я решил, что под этим предлогом она хочет сбежать от разговорчивого банкира, но не угадал. Госпожа Кусано взяла обеих шалуний за руки и отвела к нам с Соноко.

– Возьмите этих негодниц в свою компанию, пожалуйста, – попросила она.

Госпожа Кусано была женщиной красивой и изящной. Иногда на ее лице появлялась мягкая, невыразимо печальная улыбка. Вот и в этот раз я прочел в ее улыбке грусть и тревогу. Когда она отошла, мы с Соноко переглянулись. Я вынул из кармана блокнот, вырвал страничку и написал: «Ваша матушка настороже».

– Что это вы пишете? – с любопытством спросила Соноко, наклонившись ко мне.

Я вдохнул детский запах ее волос. Прочитав записку, она густо, до самой шеи покраснела и потупила глаза.

– Или я не прав?

– Придумаете тоже...

Наши глаза встретились, и мы поняли друг друга. Я почувствовал, как у меня вспыхнули щеки.

– Соноко, что он написал? – потянулась к записке младшая сестренка.

Соноко поспешно спрятала листок. Средняя сестра, похоже, сообразила, в чем дело, обиженно надула губы и с преувеличенной строгостью обрушилась на малышку за невежливость.

После этого у нас с Соноко разговор пошел легче. Она рассказала мне и про свою школу, и про любимые книжки, и про брата. Я же в свойственной мне манере стремился перевести разговор на более отвлеченные темы. Как известно, это первый шаг в тактике обольщения. Когда мы углубились в беседу и перестали обращать внимание на девочек, те потихоньку улизнули на свое прежнее место. Госпожа Кусано, улыбаясь, покачала головой и водворила своих неудачливых маленьких соглядатаев обратно на боевой пост.

Когда все мы добрались до города М., неподалеку от которого находилось училище, было уже поздно. В гостинице мне пришлось делить номер с господином Оба.

Когда мы остались вдвоем, банкир разразился пространной антивоенной речью. Весной 1945 года подобными высказываниями удивить кого-либо было трудно; признаться, они уже успели мне порядком надоесть. Но деваться было некуда – пришлось выслушать и про керамическую компанию (господин Оба держал там свои капиталы), которая закрылась якобы на ремонт, а на самом деле готовится к массовому производству мирной продукции, и о тайных переговорах, которые ведутся при посредничестве Советского Союза, и о многом другом.

А мне больше всего хотелось побыть в одиночестве и разобраться в своих мыслях и чувствах. Наконец банкир снял очки (без них его лицо казалось странно распухшим), погасил лампу, пару раз тихонько всхрапнул и мирно засопел. Я же погрузился в раздумья, прижавшись щекой к новому колючему полотенцу, которым – вместо наволочки – была обмотана подушка.

К угрюмому раздражению, охватывающему меня всякий раз, когда я остаюсь наедине с самим собой, прибавилась острая скорбь, впервые возникшая утром, при виде Соноко, и теперь возродившаяся с неменьшей силой. Я очень отчетливо сознавал фальшивость каждого произнесенного за день слова, каждого сделанного жеста. По опыту мне уже было известно, что лучше сразу признать себя виновным во лжи, чем мучиться, решая, какой из моих поступков истинен, а какой притворен. Подобное самообличение даже действовало успокаивающе. Я лежал в постели и в который уже раз пытался понять: в чем же суть человеческой жизни, каково устройство человеческой души? Эти нескончаемые терзания были совершенно бесплодны.

Я изводил себя вопросами. Что испытывал бы на моем месте другой юноша? Как бы чувствовал себя нормальный человек? И доставшийся мне маленький кусочек счастья растаял без следа.

Лицедейство, о котором я уже писал, сделалось неотъемлемой частью моей натуры. Это перестало быть актерством. Постоянные потуги изобразить себя нормальным человеком привели к тому, что та доля нормальности, которая была дарована мне природой, оказалась разъедена ржавчиной, и со временем я стал и эту, естественную, часть своей души считать притворством. Иначе говоря, я превратился в человека, который не верит ни во что, кроме лжи. Я желал, чтобы мое чувство к Соноко тоже было притворством, но как знать, не маскировало ли это желание искреннюю потребность моей души в любви? Я настолько запутался в себе, что даже разучился поступать вопреки собственной природе...

Мысли подобного рода еще долго не давали мне спать. А потом откуда-то из ночи

донеслось знакомое завывание, сулившее беду и в то же время полное для меня смутного очарования.

Банкир проснулся и спросил:

– Что, опять тревога?

– Кажется, да, – проямлил я.

Но сирена была где-то очень далеко.

Мы встали в шесть часов, потому что время свиданий в училище приходилось на раннее утро.

Встретив в умывальной комнате Соноко, я спросил:

– Слышали ночью сирену?

– Нет, – удивилась она.

Младшим сестрам это показалось очень забавным, и они принялись подшучивать над Соноко.

– Все-все проснулись, одна Соноко ничего не слышала! – захихикала средняя.

Маленькая подхватила:

– Я тоже проснулась, сразу проснулась. А Соноко знай себе храпит.

– Ага, да еще как! Громче сирены!

– Врете вы все! – залилась краской Соноко. – Докажите, что я храпела! Смотрите у меня, врушки!

У меня тоже была младшая сестра, но только одна, поэтому я всегда завидовал шумным семьям, в которых много девочек. Я слушал шутливую перебранку трех сестер, и мне казалось, что это олицетворение высшего земного счастья. От этого сердцу стало еще больнее.

За завтраком тоже говорили о воздушной тревоге – первой за нынешний месяц. Поскольку сирена была предварительной, все были настроены оптимистично, решили, что ничего страшного не произошло. Да хоть бы где-то и бомбили – меня это совершенно не трогало. Пусть даже в мое отсутствие сгорит родительский дом со всей семьей в придачу, какое мне дело?

Я вовсе не был каким-то особенным изувером. Просто у всех нас в ту пору заметно ослабла сила воображения, ибо каждый день могло случиться что-нибудь такое, до чего не додумалась бы и самая изощренная фантазия. Куда легче было вообразить себе гибель родственников, чем представить, что витрины Гиндзы вновь наполнятся рядами бутылок с иностранными этикетками, а вечернее небо засияет отблесками неоновых реклам. Вот почему фантазия выбирала более доступные картины. Картины эти могут показаться жестокими, но, поверьте, виной тому была вовсе не душевная черствость. Лениость и апатия души – и больше ничего.

Когда мы вышли из гостиницы, я начисто забыл о роли трагика, которую разыгрывал наедине с собой ночью, и превратился в галантного кавалера: отобрал у Соноко сумку и понес сам. Я сделал это демонстративно, на виду у всех. Знал, что Соноко растеряется, и ее замешательство, на самом деле вызванное неожиданностью моего поступка, будет всеми истолковано как смущение перед матерью и бабушкой. Тогда и у нее самой возникнет ощущение, будто между нами есть какая-то близость, которую ни к чему выставлять напоказ.

Моя маленькая хитрость сработала. После того как я взял у Соноко сумку, она сочла своей обязанностью идти со мной, а не со своей подругой. Разговаривая с Соноко, я

поглядывал на нее со странным чувством. Пыльный и порывистый весенний ветер уносил прочь беззащитные звуки ее голоса, удивительно чистого и нежного. Я подвигал плечом, ощущая вес сумки Соноко. Отчего мне было так тяжело – не из-за сумки же? Я чувствовал себя преступником, скрывающимся от правосудия.

Вскоре бабушка Соноко начала ворчать, что до города далеко идти и она устала. Банкир вернулся на станцию и каким-то чудом умудрился нанять два автомобиля, которые и доставили нас на место.

– Ну, здорово. Давненько не виделись.

Я пожал Кусано руку. Его ладонь была жесткой и шершавой, как панцирь краба.

– Что это у тебя с рукой?

– Впечатляет, да? – хохотнул Кусано.

Вид у него был довольно жалкий, как у всякого новобранца. Он вытянул вперед руки, чтоб я полюбовался тем, какие они мозолистые, исцарапанные, обмороженные и грязные. Они и в самом деле стали похожи на клешни краба, даже такие же влажные и холодные.

Это зрелище напугало меня – встреча с жизнью реальной всегда действовала на меня подобным образом. Я смотрел на руки Кусано с инстинктивным ужасом: эти беспощадные пальцы норовили проникнуть в самую мою душу, чтобы обвинить и покарать меня. Я боялся, что от них ничего не утаишь, лицедейство здесь не поможет. И тут существование Соноко обрело новый смысл – оно должно было стать латами и кольчугой моей хрупкой совести, уберечь ее от этих безжалостных рук. Я сказал себе: ты просто обязан ее полюбить, во что бы то ни стало. Это чувство проникло в самую глубину моей души и укоренилось там еще прочнее, чем ощущение стыда и греховности происходящего...

Не подозревающий о моих терзаниях Кусано весело сказал:

– Теперь в бане и мочалки не надо – намыливай ладонь да три.

Его мать жалобно вздохнула. Рядом с ней я поневоле чувствовал себя бесцеремонным чужаком, вторгающимся в жизнь семьи. Поймав на себе взгляд Соноко – без сомнения, брошенный ненароком, – я виновато опустил голову. Мне почему-то захотелось попросить прощения – сам не знаю за что.

– Пойдемте-ка наружу, – предложил Кусано, смущенно и грубовато подтолкнув мать и бабушку к выходу.

На высохшей траве плаца группками расположились курсанты с приехавшими родственниками и друзьями. Все ели и пили. Как я ни пытался обнаружить в этой картине что-то значительное и красивое, у меня ничего не вышло. Мы тоже сели вокруг Кусано. Уплетая за обе щеки сласти, он замычал и глазами показал мне в сторону Токио. Училище располагалось на холме, за ним раскинулись мертвые поля, дальше – равнина, на которой темнели дома города М., а еще дальше сходились две невысокие горные гряды. Где-то в той стороне, под навесом холодных и темных мартовских туч, находился Токио.

– Там вчера ночью все небо было красное. Прямо кошмар! – дожевав, сказал Кусано. – Надеюсь, с твоими все в порядке, а? Ужас что творилось – такой бомбежки еще не бывало.

Говорил один Кусано, остальные молчали. С очень значительным видом он сказал матери и бабушке, чтобы они немедленно эвакуировались из Токио, иначе он от беспокойства за них спать по ночам не сможет.

– Хорошо-хорошо, – успокоила его бабушка. – Обещаю тебе, что мы немедленно оттуда уедем.

Она извлекла из-за пояса кимоно блокнот, серебряный карандаш размером с зубочистку и с решительным видом начала что-то писать.

На обратном пути все сидели в вагоне хмурые и печальные. Даже господин Оба, с которым мы встретились на станции, рта не раскрывал. Всеми владело чувство, обычно таящееся в глубине сердца, – любовь к близкому человеку или, как еще говорят, «к своей плоти и крови». Ехавшие со мной в поезде встретились кто с сыном, кто с братом, кто с внуком, и это свидание вывернуло наружу все то, что обычно остается сокрытым. Но взаимное обнажение друг перед другом своего сердца лишь привело к показному, бессмысленному кровоточению души. Меня же все еще преследовало видение многострадальных рук Кусано.

Уже наступили сумерки, когда мы наконец приехали на вокзал, где должны были пересесть на электричку.

И тут перед нашими взорами предстали последствия вчерашней бомбежки. Пешеходный мостик над железнодорожными путями был весь заставлен носилками с ранеными. Они лежали, закутанные в одеяла, и пустым, ничего не выражающим взглядом смотрели куда-то в пространство. Я видел женщину, с мерностью маятника качавшую на руках тельце ребенка. Еще помню девушку, которая спала, положив голову на плетеный короб; в волосах у нее были обгоревшие искусственные цветы.

Мы шли по мостику целые и здоровые, но никто не бросал на нас обвиняющих взглядов. На нас вообще не смотрели. Тут никто ни с кем не разговаривал. Мы не существовали для этих людей, были для них какими-то бесплотными тенями, ибо беда обошла нас стороной.

Я почувствовал, как в моей душе разгорается огонь. Эта выставка несчастий вселила в меня мужество, сделала сильным. Я испытывал тот подъем, то возбуждение, которые становятся причиной революций.

На глазах у этих людей пламя сожрало все, что составляло смысл их жизни. Человеческие отношения, любовь, ненависть, рациональность, имущество – все сгорело в огне. И, пытаясь погасить, уничтожить пожар, люди истребляли не пламя, а человеческие отношения, любовь, ненависть, рациональность и, разумеется, имущество. Подобно матросам тонущего корабля, которые обретают право убивать своих товарищей, чтобы самим занять место в шлюпке. Человек, погибший, спасая из огня свою возлюбленную, убит вовсе не пожаром – он убит той, которую любил. И мать, сгоревшая в пламени, чтобы жил ее сын, уничтожена не пламенем: ее убийца – собственный ребенок. В той отчаянной схватке сцепились все исходные, абсолютные истины человеческого существования.

Захватывающий спектакль, участниками которого стали эти люди, оставил на их лицах следы смертельной усталости. Мое сердце наполнилось горячей, радостной уверенностью. Впервые в жизни – пусть всего на несколько мгновений – я избавился от своей извечной тревоги; жизнь других людей перестала меня страшить! Я чуть не закричал от полноты чувств.

Понимай я себя тогда чуть-чуть лучше, обладай я хоть какой-то мудростью, возможно, мне удалось бы в тот момент разгадать загадку реальной жизни. Но пылкое воображение помешало мне, сыграло со мной злую шутку; моя вновь обретенная уверенность ушла на другое – я решительно обнял Соноко за талию. Может быть, именно тот короткий жест и открыл мне, что слово «любовь» лишено всякого смысла.

Мы шли вдвоем впереди всех по темному мостику. Соноко не произнесла ни слова...

Когда же мы оказались в вагоне электрички, на удивление ярко освещенном, Соноко взглянула на меня своими черными лучистыми глазами, и я прочел в них растерянность и мольбу.

На кольцевой линии вагон наполнился токийцами, еще не пришедшими в себя после вчерашней бомбежки. В воздухе запахло гарью. Пассажиры разговаривали громче обычного, хвастались друг перед другом невероятными опасностями, которых им удалось избежать. Они тоже были похожи на революционеров. Толпа излучала мятежный дух – мощный, радостный, агрессивный.

Попрощавшись со всеми, я вышел на своей станции. Вернул Соноко сумку и зашагал по темным улицам, все время напоминая себе, что руки мои пусты. Только теперь я понял, какую важную роль играла эта сумка. Она была моими кандалами. Я ведь не могу обходиться без кандалов, без какого-нибудь тяжелого груза – иначе поднимет голову моя совесть.

Домашние были живы, здоровы и даже спокойны. Токио – очень большой город, и наш район не бомбили.

Я обещал дать Соноко что-нибудь почитать и через несколько дней после поездки отправился к ней с визитом. Вы без труда можете себе представить, какого рода чтение подбирает двадцатилетний юноша для восемнадцатилетней девушки. Мысль, что я поступаю точно так же, как самый обыкновенный молодой человек, доставила мне чрезвычайное удовольствие.

Соноко не оказалось дома, она куда-то вышла, и я дожидался ее в гостиной. Внезапно весеннее небо покрылось пепельными тучами, полил дождь. В сумрачную комнату вошла Соноко, дождевые капли поблескивали у нее в волосах. Она села в глубокое кресло, стоявшее в самом темном углу, и обхватила себя за плечи. По ее губам блуждала едва различимая улыбка. Сквозь полумрак я видел, как под ее красной кофточкой опускаются и поднимаются два холмика.

До чего же робко, то и дело прерываясь, начинался наш разговор! Мы впервые оказались наедине. В поезде я держался куда свободнее, но там это было легче – с соседней скамьи доносилась болтовня банкира, рядом возились младшие сестры Соноко. Теперь же у меня ни за что не хватило бы смелости написать ту дерзкую записку. Я держался еще застенчивей, чем обычно. Для меня раскованность – это возможность быть серьезным, и мне казалось, что Соноко я могу не бояться. Но как же моя маска? Ведь я собирался разыгрывать абсолютно «нормальную» любовь?! При этом я чувствовал, что любви к этой очаровательной девушке вовсе не испытываю. Однако мне было хорошо рядом с ней.

Дождь кончился, и в гостиную проникло заходящее солнце. Глядя, как сияют в его лучах глаза и губы Соноко, я еще болезненнее ощутил свою беспомощность перед такой красотой. На душе сделалось горько, а Соноко вдруг показалась мне каким-то призрачным, эфемерным созданием.

– Вот взять нас с вами... – запинаясь, говорил я. – Кто знает, сколько нам отпущено? Сейчас как завоет сирена, прилетит самолет и сбросит бомбу прямо на этот дом...

– Это было бы замечательно. – Соноко рассеянно теребила край своей клетчатой юбки, но тут вдруг подняла лицо, и я увидел нежный светящийся пушок на ее щеке. – Нет, правда...

Представляете, мы тут сидим, а с неба бесшумно планирует самолет и бросает бомбу. Вот было бы здорово!.. Вы так не думаете?

Она, похоже, сама не поняла, что эти слова – признание в любви.

– Да, это было бы... неплохо, – как можно небрежнее ответил я.

Если б она только знала, сколь страстно мечтал я о подобной смерти.

Теперь я понимаю, что наш разговор был по-своему комичен. В мирные времена такие признания делают только люди, давно и всей душой любящие друг друга.

Чтобы скрыть смущение, я сказал с напускным цинизмом:

– Сейчас эпоха всеобщих расставаний. Кого разлучает жизнь, кого смерть. Это уже становится скучным. Вам не кажется? Сегодня разлука тривиальна, а оригинальна как раз встреча. Она почти как чудо... Разве не чудо, что мы с вами сидим вдвоем и разговариваем?

– Да, мне тоже... – Тут Соноко смешалась и не закончила. А потом сказала очень серьезно и спокойно: – Знаете, нам ведь тоже суждено скоро расстаться. Бабушка хочет, чтобы мы скорее эвакуировались. Как вернулись, в тот же день послали телеграмму в деревню, тете, – чтобы сняла для нас дом. Она сегодня звонила, сказала, что ничего найти не смогла, но мы можем пожить у нее. Говорит, вместе веселей. А бабушка пообещала, что через два-три дня приедем...

Я не нашелся что сказать. Меня самого поразило, какой болью отозвалось это известие в моем сердце. Мне было так хорошо с Соноко. Я считал само собой разумеющимся, что мы еще долго будем вместе – много дней, а то и месяцев: *что все останется как есть*. Слова Соноко стали двойным ударом, двойным разочарованием. Во-первых, они означали, что наша встреча не более чем химера, а мое счастье – чистейшей воды иллюзия; и еще я понял, что, если бы мы даже не расставались, отношения между мужчиной и женщиной не стоят на месте, – детская мечта *оставить все как есть* совершенно нереальна.

Я очнулся, и пробуждение мое было мучительным. Почему, почему нельзя, чтобы все так и оставалось, спросил я себя. Вновь, как в детстве, мне хотелось задать вопросы, на которые не было ответа. Кто и за что возложил на нас, людей, непонятную обязанность разрушать все вокруг, постоянно изменять окружающий мир, доверяться мимолетным случайностям? Может быть, тяжкий этот долг и называется «реальной жизнью»? Или он касается одного меня? Во всяком случае, лишь я один в полной мере ощущал весь груз этого бремени.

– Значит, вы уезжаете... Что ж, все равно и мне скоро пришлось бы покинуть Токио.

– А вы куда собрались?

– В конце марта нас снова отправят на какой-нибудь завод. Мы там пробудем весь апрель.

– Это, наверно, опасно, да? Ведь заводы бомбят.

– Да, опасно, – ответил я, уже не в силах скрывать отчаяние, и сразу после этого ушел.

Весь следующий день я провел в благодушно-расслабленном состоянии, ибо мне не нужно было больше заставлять себя полюбить Соноко. Я пел песни, подбрасывал в воздух ненавистные учебники по юриспруденции и пребывал в необычайно жизнерадостном настроении.

Эта несвойственная мне эйфория продолжалась до самого вечера. Спал я в ту ночь глубоким и крепким сном младенца. Разбудил меня ставший уже привычным вой сирен. Все наше семейство, ворча и жалуясь, отправилось досыпать в бомбоубежище. Бомбежки так и

не было – через какое-то время прозвучал отбой. Я стряхнул дрему, подхватил каску, термос и первым выбрался наружу.

Зима сорок пятого никак не хотела кончаться. Весна подбиралась к ней на мягких, как у леопарда, лапах и так и этак, но зима была сера и непробиваема, словно решетка зверинца. Ночью в свете звезд весь мир мерцал льдом и инеем.

По дороге домой я смотрел сквозь листву вечнозеленых деревьев вверх, на расплывчатые пятнышки звезд. Пар моего дыхания смешивался с морозным воздухом. Внезапно я сделал открытие, обрушившееся на меня невероятной тяжестью: я *уже* люблю Соноко и жизнь без нее не стоит теперь для меня и ломаного гроша. Внутренний голос сказал мне: если сумеешь, лучше забудь ее. И тут же я ощутил приступ глубинной, переворачивающей душу скорби – как в то утро, когда я смотрел на спускающуюся по лестнице Соноко.

Я почувствовал, что не выдержу такой муки, и в отчаянии топнул ногой.

И все же у меня хватило силы воли продержаться еще целые сутки.

Вечером третьего дня ноги сами принесли меня к дому Соноко. У ворот возились какие-то рабочие в спецовках. Во дворе лежали длинные соломенные тюки, перевязанные грубыми веревками. От этого зрелища у меня сжалось сердце.

В прихожей меня встретила бабушка. Все вокруг было заставлено свертками, ящиками и мешками, готовыми к отправке. Под ногами хрустела стружка. По слегка смущенному лицу бабушки я сразу понял, что повидаться с Соноко мне не дадут. Тогда, словно рассыльный из книжной лавки, я достал несколько заранее приготовленных любовных романов и сказал:

– Вот. Передайте, пожалуйста, от меня Соноко-сан.

– Большое вам спасибо, – ответила старуха, даже не предлагая позвать внучку. – Завтра вечером мы эвакуируемся в деревню. Все устроилось очень удачно, так что мы сможем уехать гораздо раньше, чем думали. Дом мы сдаем господину Т., здесь будет общежитие для служащих его компании. Жаль с вами расставаться, молодой человек. Мои внучки успели вас очень полюбить. Ну да вы приезжайте к нам погостить. Вот устроимся там и непременно напишем вам письмо. Так как, приедете?

Бабушка у Соноко была дама благовоспитанная и умела говорить приятные вещи. Но слова ее казались мне такими же ровными, гладкими и ненастоящими, как ее фальшивые зубы. И потому я ответил лишь:

– Что ж, всем вашим желаю самого наилучшего.

Произнести имя Соноко у меня не хватило духу.

И тут, словно уловив исходившие от меня колебания, на верхней площадке лестницы появилась Соноко. В одной руке она держала большую шляпную коробку, в другой – стопку книг. Соноко стояла прямо под окном, и волосы ее зажглись под солнцем огненным нимбом.

– Подождите меня, я сейчас! – крикнула Соноко так пронзительно, что бабушка даже вздрогнула.

Потом Соноко повернулась и убежала по лестнице на верхний этаж. Я со злорадным интересом посмотрел на встревоженное лицо старухи. Впрочем, та моментально взяла себя в руки и сказала, что, к сожалению, не может пригласить меня в дом, поскольку все перевернуто вверх дном. После чего удалилась.

Почти сразу же появилась раскрасневшаяся Соноко. Она молча прошла в прихожую, обулась и лишь потом сказала, что хочет меня проводить. Голос ее звучал так повелительно,

что я внутренне весь затрепетал. Я наблюдал за ней, растерянно теребя в руках студенческую фуражку. Моя душа словно приподнялась на цыпочках и испуганно замерла. Касаясь друга плечами, мы вышли наружу. До ворот шагали молча. Внезапно Соноко остановилась и нагнулась, чтобы поправить узел на шнурке. Это заняло почему-то много времени – я приблизился к воротам и ждал там, глядя на улицу. Разумеется, Соноко просто хотела, чтобы я прошел вперед, но откуда мне было знать повадки и милые хитрости восемнадцатилетних девушек?

Вдруг она прикоснулась сзади своей мягкой грудью к моему локтю. Я уверен: Соноко сделала это непреднамеренно, просто не рассчитала скорость, как тормозящий на полном ходу автомобиль.

– Вот... держите... – прошептала она, уколоч мне ладонь уголком жесткого конверта.

Мои пальцы хищно сжались, словно я хотел раздавить пойманного птенца. Конверт – самый обыкновенный, из тех, что любят школьницы, – показался мне невероятно тяжелым. Я взглянул на него боязливо, украдкой, как на нечто недозволенное.

– Не сейчас, потом, – шепнула Соноко задыхающимся, сдавленным голосом, будто едва удерживаясь от хохота.

– А куда послать ответ? – спросил я.

– Я написала там... внутри. Наш адрес в деревне...

Странное дело: я вдруг почувствовал, что сцена расставания доставляет мне удовольствие. Оно чем-то напоминало самый захватывающий момент игры в прятки, когда водящий, отвернувшись, считает, а остальные разбегаются, чтобы спрятаться. Такова уж моя натура – я способен радоваться самым неожиданным вещам. В силу этой врожденной извращенности я иногда совершаю поступки, которые всем (даже мне) кажутся мужественными, хоть на самом деле причиной им моя трусость. Очевидно, это компенсация, утешительный приз, достающийся тем, кого не привлекает ни одна из обычных радостей жизни.

Мы простились с Соноко у станции. Разошлись, даже не пожав друг другу руку.

Я был на седьмом небе от счастья – как же, первое в жизни любовное письмо. Не хватило терпения дождаться, пока доеду домой; разорвал конверт прямо в вагоне, не обращая внимания на других пассажиров. Из конверта выскользнула целая стопка ярких иностранных открыток, которые обожают собирать гимназистки. Внутри оказался и сложенный вдвое листок голубой почтовой бумаги, украшенный изображением Волка и Красной Шапочки из диснеевского мультфильма. Письмо было написано аккуратными, как в прописях, иероглифами.

*Огромное Вам спасибо за книги. Я прочла их с большим интересом. Очень надеюсь, что, несмотря на все бомбежки, Вы останетесь живы и здоровы. Из деревни напишу Вам еще. Мой адрес... (тут следовал адрес деревни). Открытки – скромный знак моей благодарности.*

И это любовное письмо?! Рано же я торжествовал... Я почувствовал, что бледнею, засмеялся. Что на такое письмо ответишь? Все равно как на открытку с каким-нибудь официальным поздравлением...

Однако за полчаса, потребовавшиеся, чтобы добраться домой, я придумал оправдание своему желанию все-таки написать ответное письмо. Ведь воспитание, полученное Соноко,

не могло научить ее составлять любовные послания, сказал я себе. Она впервые писала мужчине. Наверное, мучилась, несколько раз начинала заново. Сама бессмысленность письма неоспоримо свидетельствовала об этих терзаниях и несла в себе наиглубочайший смысл.

Тут мои мысли приняли иное направление. Я разъярился и в сердцах швырнул об стенку злополучный учебник по праву. «Какой же ты никчемный, жалкий тип! – сказал я себе. – Ты хочешь, чтобы девушка сама взяла инициативу, сама призналась тебе в любви. Почему бы тебе не действовать порешительней? Я знаю, причина твоих колебаний – преследующее тебя странное, непонятное беспокойство. Зачем тогда вообще понадобилось ходить к ней? Вспомни, когда тебе было четырнадцать, ты был нормальным, таким же, как все. И в шестнадцать лет ты еще мог спокойно смотреть в глаза своим сверстникам. Что жестряслось теперь, когда тебе исполнилось двадцать? Когда-то твой приятель сказал, что ты не доживешь до двадцати, но он ошибся: ты жив и даже раздумал искать смерть на войне. Скажите какие страдания из-за письма восемнадцатилетней девочки, еще сущего ребенка! Это в твоём-то возрасте? О, как многого ты достиг, кретин несчастный! В двадцать лет получаешь первое в жизни любовное письмо! Может, ты сбился со счета и тебе на самом деле не двадцать, а гораздо меньше? Ведь ты даже ни разу никого не поцеловал! Безнадежный неудачник – вот ты кто!»

В разгар подобных самообличений во мне зазвучал новый голос – темный и настойчивый. Он был сбивчив, взволнован и совершенно искренен – я не привык разговаривать с собой так честно и так просто. Вот что он мне сказал: «Ты бормочешь о любви? Ладно, пусть так. Но, признайся, разве женщины вызывают в тебе хоть какое-то физическое желание? Ты похвалялся перед собой, что Соноко – единственная девушка, не пробуждающая в тебе „грязных помыслов“. Неужто ты забыл, что за всю жизнь у тебя не вызывало „грязных помыслов“ ни единое существо женского пола? Как ты вообще смеешь лепетать о „грязных помыслах“? Разве ты когда-нибудь мечтал о голем женском теле? Разве ты воображаешь себе Соноко обнаженной? Ведь тебе, большому знатоку и любителю аналогий, известно, что нормальный юноша твоих лет, посмотрев на любую женщину, сразу же мысленно начинает ее раздевать... Ты хочешь знать, почему я тебе все это говорю? Пусть тебе ответит твое сердце. Ну-ка, примени свою хваленую логику, проведи еще одну аналогию. Вчера ночью, перед сном, ты кое-чем занимался, помнишь? Можешь называть этот ритуал своей вечерней молитвой – не важно. Убеждай себя, что сей заурядный языческий обряд широко распространен, что, мол, все так делают. Привыкнешь – даже приятно, да и от бессонницы лечит лучше всякого снотворного. Ладно, дело совсем в другом. Скажи, разве в тот момент ты думал о Соноко? Уж на что я привык ко всяким твоим причудам, и то не устаю поражаться диковинности твоих фантазий.

Когда днем ты ходишь по улицам, то все время пялишься на юных солдат и матросов. Я знаю, какие тебе нравятся – совсем зеленые, обожженные солнцем, безо всяких признаков интеллекта и с наивно-припухлыми губами. Стоит тебе увидеть такого, и твои глаза сразу жадно шарят по его фигуре. Может, ты решил оставить юриспруденцию и стать портным? Нет, приятель, вовсе не ради снятия мерки ощупываешь ты взглядом этих крепких, незатейливых львят. Скольких из них ты раздел догола в своем воображении хотя бы за один-единственный вчерашний день? У тебя к мозгу подвешена невидимая папка, этакий гербарий, где ты коллекционируешь своих обнаженных эфебов, чтобы во время „языческого обряда“ было из кого выбрать очередную жертву. Вспомни омерзительную фантазию

прошлой ночи.

Ты подвел свою обнаженную жертву к каменному столбу странной шестигранной формы. Потом достал из-за спины веревку и прикрутил юношу к камню. При этом тебе непременно было нужно, чтобы несчастный кричал и отбивался. Вкрадчиво ты во всех подробностях описал ему уготованную казнь. На губах твоих играла загадочно-невинная улыбка. Затем ты извлек из кармана острый нож, подошел к жертве вплотную и нежно пощекотал острием кожу стянутой веревками груди. Юноша отчаянно закричал, забился, пытаясь уклониться от безжалостного клинка. Сердце его бешено колотилось от ужаса, голые ноги судорожно трепетали. Медленно, очень медленно ты всадил жертве нож в грудь. Вот что ты натворил, чудовище! Несчастный выгнулся, словно натянутый лук, в его предсмертном вопле звучало бескрайнее одиночество, а мышцы пронзенной груди мелко-мелко дрожали. Клинок вошел в тело уверенно и деловито, словно в собственные ножны. Вспенилась свежая кровь, заструилась вниз по стройному бедру.

Экстаз, который ты испытывал в тот миг, был настоящим, сильным, человеческим чувством. Ты достиг той *нормальности*, о которой все время мечтаешь. Твое возбуждение ничем не отличалось от возбуждения обыкновенного здорового мужчины, а что причина была иной, значения не имело. Сердце твое наполнилось мощной, первобытной радостью. Варварский восторг охватил все твое существо. Глаза заблестели, забурлила кровь, ты наполнился силой и жизнью – всем тем, чему поклоняются дикие племена. Даже после семяизвержения языческий гимн, звучавший в твоей душе, стих не сразу, ты не испытал и тени печальной усталости, которая охватывает мужчину после соития с женщиной. Ты весь светился от порочности и одиночества. Древняя могучая река, сохранившаяся где-то в тайниках твоей памяти, несла тебя на своих волнах. Кто знает, быть может, по какому-то труднообъяснимому капризу судьбы у тебя в подсознании возродилась дикая и свирепая чувственность далеких предков, управляющая твоими страстями и желаниями? Но ты не замечаешь этого, ибо вконец изолгался и погряз в суете. Зачем тебе – тебе, вкусившему высшего наслаждения, какое только может быть доступно человеку, – нужны пошлейшие вздохи о любви и духовности?

Лучше ты вот что сделай. Отправляйся к Соноко и прочти ей диссертацию по своей экзотической науке. Что-нибудь высокоумное – скажем, „О функциональной зависимости кровотечения от рельефа туловища эфеба“. И объясни ей, что речь идет о любимом тобой стройном, юном, мускулистом торсе и о причудливой кривой, которую описывает струйка крови, стекая меж выпуклых мышц. Не забудь упомянуть, что лучше всего смотрится кровавый узор, имитирующий какой-нибудь естественный контур – петляющую по равнине речку или узловатость коры старого дерева.

Верно ли я говорю?» – спросил голос.

«Верно», – ответил я.

И все же мой склонный к самоанализу разум устроен таким затейливым образом, что я всегда ухожу от окончательной дефиниции – как лист Мёбиуса, склеенная в перекрученном состоянии полоска бумаги. Ведешь пальцем по внешней поверхности, а она вдруг оказывается внутренней. И наоборот. Когда я стал взрослее, бег моих мыслей и чувств по этому замкнутому кругу несколько замедлился, но в двадцать лет от головокружительных метаний по «листу Мёбиуса» у меня темнело в глазах. А к концу войны, когда казалось, что вот-вот рухнет весь мир, скорость вращения многократно возросла и я уже с трудом удерживался на ногах. Причины, следствия, противоречия перекрутились в один тугой узел,

и у меня не было времени распутывать все эти нити. Я лишь видел вертящийся вокруг меня стремительный хоровод парадоксов.

Целый час терзался я подобными мыслями, а результат был таков: решил написать Соноко какой-нибудь хитроумный ответ.

Зацвела сакура. Никому не приходило в голову любоваться этим зрелищем. Во всем Токио, наверное, только студенты с моего факультета имели достаточно свободного времени, чтобы обращать внимание на подобную ерунду. Несколько раз один или в сопровождении приятелей я отправлялся в парк, где вокруг пруда росли сакуры.

В тот год они цвели как-то по-особенному пышно. Возможно, так казалось потому, что не было обычных красно-белых тентов для публики и столиков с угощением, не гуляли праздные толпы, не продавали воздушных шаров и вертушек – деревца стояли в прекрасной наготе, обрамленные лишь зарослями вечнозеленых кустов. Никогда еще не видел я, чтобы природа проявляла такую безрассудную, такую бескорыстную, такую великолепную щедрость. Мне даже сделалось не по себе – а что, если природа решила вновь завоевать весь земной шар? Не мог же столь ослепительный расцвет происходить просто так, без всякой цели! В буйстве всех этих красок – и в желтизне опавших лепестков, и в зелени травы, и в свежей черноте стволов, и в пугающей белизне цветов, согнувших своей тяжестью тонкие ветви, – мне виделось нечто зловещее. Это был просто какой-то пожар красок!

Я помню, как мы прогуливались по газону: слева деревца, справа пруд – и вели нескончаемый идиотский спор на юридическую тему. В то время я любил посещать лекции профессора И., ведущего курс международного права, – меня привлекал их комизм. С неба на нас сыпались бомбы, а профессор как ни в чем не бывало разглагольствовал о Лиге Наций. Я слушал его с любопытством, словно он читал лекции об игре в маджонг или шахматы. Мир! Вечный мир! Наваждение какое-то. Словно звучит где-то вдали колокольчик и никак не можешь разобрать: то ли вправду звонит, то ли примерещилось.

– Однако эта проблема упирается в неоспоримость права на наследование недвижимости, – говорил один из моих приятелей, высокий и смуглый парень, приехавший в Токио из деревни.

Он был освобожден от армии, ибо, несмотря на свой цветущий вид, находился в последней стадии чахотки.

– Да хватит о ерунде болтать, – прервал его другой.

Этот был так болезненно бледен, что диагноз угадывался сразу.

– В небе летают бомбардировщики, а на земле по-прежнему царит Закон, – рассмеялся я. – Прямо идиллия – слава горняя и покой дольний.

Из нас троих один я не был «чахоточником». Правда, я считался «сердечником». В то время человеку обязательно нужен был либо орден на груди, либо подходящий недуг.

Внезапно из-за ближнего дерева послышался шорох, и мы замерли от неожиданности. На нас уставился молодой парень, тоже явно застигнутый врасплох. Он был в засаленной спецовке и деревянных сандалиях. О его возрасте можно было догадаться разве что по блеску коротко остриженных волос, видневшихся из-под пилотки. Грязное, небритое лицо, невымытая шея, промасленные руки – все свидетельствовало об унылом, изнурительном труде, для которого молодости и старости не существует. Из-за плеча парня боязливо выглянула девушка. Стянутые в тугий узел волосы, гимнастерка цвета хаки, новые, еще не успевшие запачкаться бесформенные шаровары. Мы сразу поняли, что эти двое работают на трудовом

фронте и сбежали со смены, чтобы тайком встретиться, а заодно полюбоваться цветущими вишнями. Должно быть, услышав наши шаги, парочка решила, что это полицейский патруль, и до смерти перепугалась.

Убедившись в своей ошибке, влюбленные окинули нас недружелюбным взглядом и скрылись в зарослях. Дальше мы шли молча.

Цветение сакуры еще не набрало полной силы, когда наш факультет опять закрылся. Всех студентов отправили работать в военно-морской арсенал, находившийся на берегу залива С. Примерно в это же время мать с младшими братом и сестрой переехала в маленький загородный дом, принадлежавший дяде. Отец остался в нашем токийском доме один, если не считать слуги – юного, но практичного не по годам гимназиста. Когда не удавалось достать риса, хозяйственный паренек варил отцу и себе кашу из протертых бобов – блюдо весьма неаппетитного вида. Практичность слуги проявлялась и в том, что, пользуясь частыми отлучками отца, он потихоньку перетаскал из нашей кладовки весь скудный запас консервов.

Моя служба в арсенале была не слишком тяжелой. Я работал в тамошней библиотеке, и, кроме того, время от времени меня подключали к бригаде тайваньских подростков, рывших большой подземный туннель, где предполагалось разместить цех по производству запчастей. Я очень подружился с этими чертенятами – им всем было лет по двенадцать-тринадцать. Они учили меня своему языку, а я в качестве платы за уроки рассказывал им сказки. Мальчишки были абсолютно уверены, что тайваньские боги уберегут их от бомбежек и благополучно вернут домой. Прожорливость этих малолетних землекопов достигала фантастических размеров. Один ловкач из их числа умудрился стащить целый мешок риса да еще овощи прямо из-под носа у часового. Бригада устроила пир: зажарила все это в машинном масле. Меня пригласили разделить трапезу, но я вежливо отказался, боясь, что рис будет по вкусу напоминать болты и гайки.

За месяц, прошедший после моего первого письма Соноко, наша переписка приобрела более интимный характер. Наедине с листом бумаги я чувствовал себя очень смелым. Помню, как-то утром (только что прозвучала сирена отбоя после воздушной тревоги) я вернулся к себе в библиотеку, увидел на столе письмо от Соноко и стал его читать. У меня задрожали руки, хмельно загудело в голове. Несколько раз я повторил вслух одну строчку: *«Как мне Вас не хватает...»*

Отсутствие Соноко придавало мне мужества. Находясь вдали от нее, я мог чувствовать себя вполне «нормальным». Я, так сказать, временно исполнял обязанности «нормального». Отдаленность во времени и пространстве придают человеческому существованию несколько абстрактный характер. Поэтому чувство к Соноко естественным и гармоничным образом соединилось с моими специфическими плотскими желаниями, на самом деле не имевшими к ней ни малейшего отношения. Я не усматривал в этом слиянии никакого противоречия и день ото дня укреплялся в своем благодушном заблуждении.

Я чувствовал себя совершенно свободным. Жизнь была восхитительна. Ходили слухи, что американцы вскоре высадят десант и сотрут наш арсенал с лица земли, но мысли о гибели не пугали меня. Наоборот, жажда смерти охватила мою душу с куда большей силой, чем прежде. О, я жил тогда настоящей, полной смысла жизнью!

Как-то в субботу, во второй половине апреля, я получил увольнительную и отправился домой, в Токио. Хотел взять кое-какие книги и тут же уехать к матери за город. Но поезд еле полз – то тревога, то отбой, то снова тревога, – и я отчаянно продрог. У меня начался озноб, потемнело в глазах, потом навалилась тяжелая, жаркая усталость. Симптомы были мне хорошо знакомы – приступ тонзиллита. Добравшись до отцовского дома, я велел слуге приготовить постель и сразу лег.

Через какое-то время снизу донесся пронзительный женский голос, иглой впившийся в мои пылающие жаром виски. Кто-то поднялся по лестнице, торопливо прошел коридором, дверь отворилась. С трудом разомкнув веки, я увидел перед постелью край кимоно.

– Ты что это разлегся, лентяй несчастный!

– А-а, Тяко... Привет.

– Что значит «привет»? Да мы с тобой лет пять не виделись!

Это была Тиэко (домашнее прозвище Тяко), моя дальняя родственница, лет на пять старше меня. Последний раз я встречался с ней во время ее свадьбы. В прошлом году ее муж погиб на фронте, и кто-то из знакомых, помнится, рассказывал, что с тех пор Тяко ведет себя довольно странно – уж больно весела и не проявляет ни малейших признаков скорби.

Я смотрел на Тиэко с немым изумлением, думая, что большой белый искусственный цветок, украшавший ее прическу, лучше бы убрать.

– Я зашла, думала с Тацу поговорить (моего отца зовут Тацуо), – защебетала гостя. – Мне нужно помочь с багажом. Собралась вот в эвакуацию. Тацу недавно сказал папе, что может это устроить. Вроде бы знает какую-то хорошую транспортную контору.

– Отец сегодня вернется поздно. Но это не важно...

Я с беспокойством смотрел на слишком алые губы Тиэко. Этот ядовитый цвет резал мне глаза и еще более усиливал головную боль.

– Слушай... Тебе прохожие на улице не делают замечания, что ты в военное время ходишь такая размалеванная?

– Какой ты стал большой! Уже обращаешь внимание на женскую косметику? А когда лежишь в постели, кажешься еще совсем ребенком.

– Тяко, шла бы ты отсюда.

Но она, дразня меня, наклонилась еще ближе. Я не хотел, чтобы она видела мою пижаму, и закутался в одеяло по самое горло. Вдруг Тиэко протянула руку и коснулась моего лба. Ее ладонь обожгла меня холодом, и это было приятно.

– Ой, какой ты горячий! Температуру мерил?

– Тридцать девять.

– Нужно лед прикладывать.

– Нет у нас никакого льда.

– Ничего, я что-нибудь придумаю.

Тиэко проворно выбежала из комнаты; широкие рукава ее кимоно жизнерадостно взметнулись. Вскоре на лестнице вновь раздались шаги, и Тиэко уселась у изголовья с весьма довольным видом.

– Я отправила вашего мальчишку за льдом.

– Спасибо, – ответил я, глядя в потолок.

Тиэко взяла с подушки книгу; ее рукав дотронулся до моей щеки, и мне захотелось прижаться лицом к прохладному шелку. Я чуть было не попросил Тиэко об этом, но передумал. Сгущались сумерки.

– Куда же он запропастился, сорванец?

Больные очень остро чувствуют течение времени: реплика Тиэко явно была преждевременной – я сразу это отметил. Через две-три минуты она снова сказала:

– Что же он так долго? Чем он там занимается?

– Ничего не долго! – нервно крикнул я.

– Рассердился? Ух ты, мой бедненький! А ты закрой глазки. Ишь как сердито в потолок уставился – того и гляди, дырку там прожжешь.

Я прикрыл веки. Они показались мне тяжелыми и горячими. Что-то вновь коснулось моего лба, и совсем близко я ощутил прерывистое дыхание. Непроизвольно я отстранился и зачем-то простонал. Жаркое дыхание придвинулось ближе, и внезапно к моим губам прижалось нечто твердое и маслянистое. Глухой звук – это столкнулись наши зубы. Мне было страшно открыть глаза. Две холодные руки стиснули мои щеки.

Когда Тиэко наконец отодвинулась, я приподнялся на постели. В полумраке мы настороженно смотрели друг на друга. Я знал, что обе сестры Тиэко слывут весьма легкомысленными особами. Очевидно, в ее жилах пылал тот же чувственный огонь. Но я тоже горел огнем – от температуры – и потому ощутил странную близость к этой женщине. Я сел повыше и сказал: «Еще».

Мы целовались до возвращения слуги. При этом Тиэко все время шептала: «Только поцелуй, больше – ни-ни».

Мне трудно сказать, испытывал ли я тогда физическое возбуждение. Я читал, что любой новый опыт сам по себе является эротическим переживанием, поэтому бессмысленно пытаться анализировать мои первые впечатления. Возможно, чувственность в моих ощущениях и присутствовала, но была вызвана хмельным безумием самой ситуации.

Впрочем, этот вопрос меня не волновал, главное – я стал «мужчиной, познавшим поцелуй». Целуясь с Тиэко, я все время думал о Соноко. Так любящий брат, которого угощают чем-нибудь особенно вкусным в гостях, жалеет, что с ним нет младшей сестренки. С тех пор я мечтал только об одном – поцеловать Соноко. Это была первая моя ошибка, имевшая весьма серьезные последствия.

Мысли о Соноко постепенно окрасили мои воспоминания о первом поцелуе в довольно неприглядные цвета. Уже на следующий день, когда Тиэко позвонила и предложила встретиться, я сказал, что вынужден немедленно возвращаться в арсенал. Даже на прощальное свидание не явился, хоть и обещал. При этом я вовсе не склонен был объяснять свою странную холодность тем, что поцелуи не доставили мне какого-либо удовольствия. Нет, я уверил себя, что, будь на месте Тиэко та, кого я люблю, все вышло бы иначе. Тогда впервые я стал использовать любовь к Соноко как отговорку и оправдание...

Как и положено юным влюбленным, мы с Соноко обменялись фотографиями. Я получил письмо, в котором сообщалось, что моя карточка помещена в медальон и отныне всегда будет у Соноко на груди. Она же прислала мне снимок такого размера, что он даже в карман не влезал – хоть специальный портфель заводи, если хочешь постоянно иметь его при себе. Пришлось носить фотографию в узелке. А во время увольнительных я возил ее с собой в Токио, чтобы не дай бог не сгорела, если арсенал станут бомбить.

Однажды, когда я возвращался из дому на службу, началась воздушная тревога. Поезд остановился, в вагоне выключили свет. Потом сообщили, что пассажирам следует немедленно покинуть состав. Я стал шарить в темноте по багажной сетке, но узелок исчез –

его стащили. Будучи человеком суеверным, я не на шутку встревожился и сказал себе, что нужно как можно скорей увидаться с Соноко.

Ночью двадцать четвертого мая была бомбежка, по разрушительности не уступавшая мартовской. Как и предыдущая, она придала мне решимости. Очевидно, наши с Соноко отношения питались миазмами всеобщей беды, подобными тем химическим соединениям, которые могут существовать лишь при наличии в них серной кислоты.

Мы, рабочие, сидели в своих противоздушных щелях, вырытых у подножия холмов, и смотрели, как над Токио полыхает алое зарево. Временами, при особенно мощном взрыве, облака над городом окрашивались в ярко-голубой свет и делались похожи на чистое небо в солнечный день. И это среди ночи... Прожектора беспомощно шарили по небу, словно маяки, указывающие путь вражеским самолетам. Если им и удавалось поймать в перекрестье своих лучей бомбардировщик, они просто вели серебряную птичку по небу, галантно передавая ее своим братьям, расположенным ближе к городу. Зенитный огонь был совсем слаб и не слишком докучал американским Б-29.

С такого расстояния невозможно было отличить наш истребитель от вражеского бомбардировщика, но тем не менее всякий раз, когда алое небо прочерчивал падающий самолет, зрители громогласно ликовали. Самое большое рвение проявляли подмастерья и ученики. Они расположились в своих щелях, как в театральных ложах, – аплодировали, ободряюще кричали. Я подумал, что, когда смотришь издали, в общем-то, не важно, чей самолет сбит, свой или чужой. Такая уж это штука – война...

Наутро, едва рассвело, я ушел из казармы. Полдороги пришлось пройти пешком – железная дорога не работала, через пролом в путепроводе были перекинуты доски.

Оказалось, что среди огромного пепелища наш квартал каким-то чудом остался нетронутым. По случайности мать с братом и сестрой именно вчера решили заехать домой и как раз угодили под бомбежку. Тем не менее вид у них был вполне жизнерадостный. Они устроили пир в честь своего чудесного избавления – достали из погреба последнюю уцелевшую коробку фасолевого пастилы.

Моя сестра, превратившаяся к шестнадцати годам в сущего чертенка, вошла ко мне в комнату и бесцеремонно спросила:

– А я знаю, а я знаю. Ты в кого-то втрескался, точно?

– С чего ты взяла?

– Да уж знаю, и все тут.

– Ну а тебе-то что?

– Ничего. Когда свадьба будет?

От этих слов я вздрогнул. Так чувствует себя убийца, которому случайный встречный, ничего не подозревая, рассказывает о его собственном преступлении.

– Не будет никакой свадьбы.

– Это непорядочно. Заморочил девушке голову, а жениться не хочешь, да? Ух, какие вы, мужчины, все негодяи!

– Если ты немедленно не уберешься, я в тебя чернилами брызну.

Но и после того, как сестра убежала, я все не мог успокоиться, говорил себе: «Ведь действительно, на свете есть еще и женитьба. Семья, дети. Как же я мог об этом забыть? Или только делал вид, что забыл? Нет, я просто полагал, что такая прозаическая вещь, как семейная жизнь, в военную пору существовать не может. Ну а вдруг женитьба принесет мне огромное, невообразимое счастье? Такое... такое, что каждый волосок на теле затрепещет от

восторга?...»

Эта мысль окончательно укрепила меня в безрассудной решимости поскорее увидеться с Соноко. Что это было – любовь? Или же необъяснимое влечение к опасности, рискованное любопытство, которое страстно, неудержимо толкает нас навстречу тому, чего мы больше всего боимся?

Соноко и ее родные в письмах уже несколько раз приглашали меня в гости. Я написал, что не хочу злоупотреблять гостеприимством их родственницы, поэтому нельзя ли снять для меня комнату в гостинице? Соноко попробовала заказать номер в какой-нибудь из окрестных гостиниц, но все они либо были заняты эвакуированными из столицы учреждениями, либо там жили немцы, интернированные после капитуляции Германии.

А я мечтал именно о гостиничном номере. Мне казалось, что осуществление моих давних фантазий совсем близко. Сказывались и пагубные последствия прочитанных любовных романов. Меня манила стезя Дон Кихота. Ведь в его эпоху многие увлекались чтением рыцарских романов, но лишь одному безумному идальго взбрело в голову претворить литературу в жизнь. Разве не был я похож на Дон Кихота?

Гостиница. Уединенный номер. Запертая на ключ дверь. Задернутые шторы. Робкое сопротивление. Молчаливое согласие начать любовную битву... В этих условиях у меня обязательно получится, не может не получиться! На меня непременно снизойдет *нормальность*, словно божественное откровение с небес. Заклятье рассеется, я стану другим человеком, настоящим мужчиной, я преобразусь. Я сумею без колебаний заключить Соноко в объятия и обрушить на нее всю мощь своей любви. Как по мановению волшебной палочки, исчезнут сомнения и страх, и я от всего сердца скажу: «Я люблю тебя!» А после того как чудо свершится, мы будем разгуливать по улицам, невзирая на любую бомбежку, и я крикну во все горло: «Смотрите – это моя любимая!»

Человек романтического склада относится ко всему интеллектуальному с тайным подозрением; именно в этом корень абсурдного увлечения, называемого мечтательностью. Ошибаются те, кто считает мечты игрой интеллекта. Нет, мечты – нечто противоположное, это бегство от разума.

Моим грезам о свидании в гостинице не суждено было осуществиться. Соноко написала, что свободных номеров нет и не будет, поэтому мне все же придется остановиться в доме ее тети. После нескольких повторных приглашений я наконец согласился. И тут же на меня снизошло спокойствие, похожее на полный упадок сил. Сколько ни пытался я уверить себя, что глубоко разочарован таким оборотом дела, мне это не вполне удалось.

Двенадцатого июня я отправился в путь. Дисциплина у нас в арсенале всю «хромала» – увольнительную получить ничего не стоило. Вагон поезда был грязен и почти пуст. Почему-то все поезда военного времени (за исключением того, в котором мы ехали с Соноко) запомнились мне обшарпанными и неприглядными. Трясаясь на жестком сиденье, я с чисто детским упрямством повторял: «Не уеду отсюда до тех пор, пока не поцелую ее». Однако в моей решимости не было и тени той гордости, которую ощущает человек, сумевший справиться с собственным малодушием на пути к заветной цели. Я чувствовал себя воришкой, отправляющимся на кражу. Вот именно – трусливым воришкой, которого главарь шайки насильно заставил пойти на дело. Я должен был испытывать счастье – ведь мне отвечали взаимностью, но от этого угрызения совести делались еще сильнее. Может быть, на самом деле я нуждался в чем-то совсем ином – скажем, в явном и несомненном

несчастье.

Соноко представила меня своей тете. Я изо всех сил старался произвести благоприятное впечатление. Мне казалось, что я читаю во взглядах родственниц Соноко недоумение: «Что она нашла в этом субъекте, в этом чахлам студентике? Неужели в нем можно усмотреть что-нибудь привлекательное?»

Желая всем им понравиться, я избрал иную тактику, чем во время памятного путешествия на поезде: занимался с младшими девочками английским, безропотно выслушивал бабушкины рассказы о том, как она жила в Берлине, и так далее. Удивительная вещь – в такие минуты Соноко становилась мне куда ближе, чем во время встреч наедине. В присутствии ее бабушки или матери мы позволяли себе обмениваться многозначительными взглядами. Сидя за обеденным столом, мы незаметно прижимались друг к другу коленями. Соноко с увлечением предавалась этой игре. Бывало, когда бесконечные бабушкины истории начинали нагонять невыносимую скуку, Соноко садилась за спиной рассказчицы на подоконник (за окном были зеленая листва и затянутое тучами небо), приподнимала двумя пальцами висевший на шее медальон и покачивала им, глядя на меня. Я смотрел на ее грудь, так ослепительно белевшую в низком вырезе платья, что глазам было больно. А улыбка Соноко заставляла меня вспомнить о «распутной крови», красившей румянцем щеки Жюльетты. Юным девушкам присущ совершенно особый вид бесстыдства, не имеющий ничего общего с развратностью зрелых женщин. Это невинное бесстыдство пьянит, как свежий весенний ветерок. Оно похоже на не очень приличный, но при этом вполне безобидный порыв – например, когда неудержимо хочется пощекотать прелестного ребенка.

В такие мгновения я хмелел от восторга. Я и сам не заметил, как вплотную приблизился к счастью – запретному плоду, которого всегда избегал. Меланхолично и настойчиво оно манило меня к себе. Временами мне казалось, что Соноко – бездонная пропасть, разверзшаяся под моими ногами.

До конца моей увольнительной оставалось два дня, а главная задача: поцеловать Соноко – так и не была выполнена.

Окрестные холмы затянуло влажным туманом – стоял сезон дождей. Я сел на велосипед и поехал на почту, якобы для того, чтобы отвезти письмо. В дневное время Соноко должна была находиться на работе (она служила в каком-то учреждении, чтобы избежать мобилизации на трудовой фронт), но мы договорились, что после обеда она сбежит из конторы и мы встретимся на почте.

Я катил мимо теннисных кортов, уныло темневших за мокрой и ржавой решеткой. Меня обогнал отчаянно крутивший педали немецкий мальчик – я только успел заметить золотистые волосы и очень белые, блестящие от дождя руки.

Пока я ждал Соноко на почте, погода немного прояснилась. Дождь прекратился. Просветление было временным – тучи не рассеялись, а лишь окрасились в платиновый цвет.

У стеклянной двери остановился велосипед Соноко. Она совсем запыхалась – вымокшие плечи поднимались и опускались в такт частому дыханию. На раздумявшемся лице сияла улыбка. «Пора! Ату ее!» – сказал я себе, ощутив азарт охотничьего пса, увидевшего добычу. Я должен был исполнить свой долг, даже если меня подбивал на это сам дьявол. Мы поехали рядом по главной улице. Потом свернули в рощу, где росли пихты, клены и березы. С ветвей падали звонкие капли. Волосы Соноко восхитительно развевались по ветру, а ее крепкие

ноги пружинисто вертели педали. Она казалась мне самым олицетворением Жизни. Мы доехали до заброшенной площадки для игры в гольф, сошли с велосипедов и пошли пешком по мокрой дорожке.

Я был взволнован и напряжен, как новобранец. «Вон те деревья как раз то, что нужно, – сказал я себе. – Там замечательная тень. Сколько до них еще – шагов пятьдесят? Значит, шагов через двадцать надо будет с ней о чем-нибудь заговорить – чтобы создать непринужденную обстановку. Последние тридцать шагов поболтаем о чем-нибудь несущественном... Итак, пятьдесят шагов. Потом кладем велосипеды на землю. Любуемся горным пейзажем. Обнимаю ее за плечи и говорю: „Прямо как сон, правда?“ Она мне отвечает какую-нибудь ерунду, я сжимаю ее плечи сильнее, притягиваю ее к себе. Как целоваться, я знаю – спасибо, Тиэко научила».

Я самозабвенно разыгрывал роль. Любовь и желание в спектакле не участвовали.

И вот Соноко наконец оказалась в моих объятиях. Она взволнованно дышала, лицо покраснелось, глаза были зажмурены. Я видел, как прелестны ее по-детски припухлые губы, но по-прежнему не испытывал ни малейшего возбуждения. Однако надежда еще жила во мне – а вдруг в момент поцелуя нормальность и неподдельная страсть проснутся во мне сами собой? Механизм придет в движение, и никакая сила не сможет его остановить.

Я приложил свои губы ко рту Соноко. Прошла секунда. Никаких ощущений. Две секунды. Ничего. Три секунды... Мне стало все ясно.

Отодвинувшись, я посмотрел на Соноко трагическим взглядом. Если б она сейчас заглянула в мои глаза, то прочла бы в них любовь – не поддающуюся определению, находящуюся за гранью обычных человеческих чувств. Но Соноко ничего не видела; от стыда и удовольствия она крепко закрыла глаза, сделавшись похожей на хорошенькую куколку.

Я молча взял ее за руку – осторожно, как тяжелобольную, – и повел назад, к велосипедам.

Надо было бежать. И немедленно. Я изображал необычайную веселость, чтобы окружающие не догадались, какая паника охватила мою душу. Очевидно, я перестарался: во время ужина мое сияющее фальшивым счастьем лицо и бросающаяся в глаза рассеянность Соноко привлекли всеобщее внимание.

Соноко выглядела еще более юной и свежей, чем обычно. Она всегда казалась мне похожей на красавицу из сказки, а теперь и вела себя точь-в-точь, как положено классической влюбленной. Каждое движение ее наивной души было мне понятно; отчаянно разыгрывая жизнерадостность, я думал только об одном: я не имею права прикасаться к этому прекрасному цветку. Стоит ли удивляться, что, одолеваемый подобными мыслями, я был неважным собеседником. Госпожа Кусано даже спросила, не заболел ли я. Соноко решила, что ей хорошо известна причина моего поведения, и, чтобы подбодрить меня, многозначительно покачала заветным медальоном. Этот знак говорил: «Не волнуйся, все в порядке». Поневоле мои губы расплылись в улыбке.

Взрослые наблюдали за этой немой сценой полуудивленно-полувстревоженно. Догадавшись, что эти дамы сейчас мысленно рисуют себе картину нашего с Соноко совместного будущего, я затрепетал от ужаса.

На следующий день мы вновь отправились на площадку для игры в гольф. Я заметил безмолвных свидетелей вчерашних объятий – растоптанные нашими ногами желтые полевые

цветы. Их мертвые стебли уже успели пожухнуть.

Привычка – вещь пугающая. Пришлось целоваться вновь, невзирая на все муки, испытанные мной накануне. На сей раз поцелуй был чисто братским. И поэтому он показался мне еще более аморальным.

– Когда мы снова увидимся? – спросила Соноко.

– Ну, если американцы не высадят десант и не уничтожат наш арсенал, то следующую увольнительную можно будет получить где-нибудь через месяц, – ответил я, от всей души надеясь, что враг высадится именно в нашем заливе, студентов заставят взять в руки оружие и все мы погибнем. Или, того лучше, что на нас сбросят какую-нибудь невиданную мощную бомбу. Таким образом, я, можно сказать, предвидел грядущую ядерную бомбардировку.

Мы спускались по освещенному солнцем склону. Две березы, похожие на нежных сестер, дружно отбрасывали на траву свои тонкие тени.

– А что ты привезешь мне в следующий раз? – спросила Соноко, глядя под ноги.

– Ну что я могу оттуда привезти? – пожал я плечами, делая вид, будто не понял смысл вопроса. – Разве что неисправный самолет или грязную лопату?

– Я не имею в виду что-то материальное.

– Да? – смешался я и, не найдя что сказать, залепетал: – Что же ты имеешь в виду? Прямо загадка. Попробую на обратном пути ее разгадать.

– Попробуй, – ответила она как-то очень строго и спокойно. – И обещай, что приедешь не с пустыми руками.

Соноко с таким нажимом произнесла слово «*обещай*», что мне не оставалось ничего другого, кроме как попытаться обратить все в шутку. Я предложил сцепить мизинцы, как делают дети, когда произносят торжественную клятву. Мы исполнили этот обманчиво невинный ритуал, но сердце мое сжималось от страха – совсем как в детстве, когда я верил, что у нарушившего слово мизинец непременно сгниет и отвалится. Ведь на самом деле я отлично понимал, какого подарка ожидает от меня Соноко – пресловутого предложения руки и сердца. Мне стало очень страшно, я испытывал безотчетный ужас ребенка, который боится ночью один пойти в уборную.

Вечером перед сном в дверь моей комнаты заглянула Соноко и капризным тоном спросила, не могу ли я задержаться еще на денек. Я смотрел на нее с недоумением и молчал. После того как рухнул краеугольный камень, на котором зижделись все мои расчеты, я перестал понимать, какого рода чувства вызывает во мне Соноко.

– Так уж обязательно именно завтра? – спросила она.

– Обязательно, – с наслаждением ответил я.

Во мне опять заработал отлаженный механизм самообмана. Наслаждение мое объяснялось очень просто – я радовался, что убегаю от опасности; однако я нашел иную трактовку: уверил себя, что упиваюсь своей вновь обретенной властью над Соноко.

Самообман был последней соломинкой, за которую я мог ухватиться. Человеку, получившему ранение, хочется как можно быстрее остановить кровотечение, и он не склонен привередничать по поводу чистоты бинтов. Примерно так же действовал и я: самообман должен был прекратить потерю крови, пока я не доберусь до больницы для более основательного лечения. Свой арсенал, на самом деле не такой уж страшный, я изобразил Соноко безжалостной казармой, где опоздавшего из отпуска немедленно отдадут под трибунал.

Утром, перед отъездом, я все разглядывал Соноко – так смотрят на пейзаж, который вряд ли суждено увидеть вновь.

Все было кончено, и я это понимал, хоть остальные считали, будто все еще только начинается. Мне и самому стоило большого труда не поддаться атмосфере настороженно-нежного внимания, которым окружили меня женщины семьи Кусано.

Очень тревожило меня спокойствие Соноко. Она помогла мне укладывать вещи, проверила, не забыл ли я что-нибудь, потом вдруг застыла у окна и стала смотреть куда-то вдаль. День опять выдался хмурый и серый – единственным цветным пятном была зеленая листва. Я увидел, как закачалась одна из ветвей – не иначе, белка пробежала. В позе Соноко ощущались безмятежная уверенность и еще по-детски упрямое ожидание. Выйти из комнаты, ничего не сделав и не сказав, было невозможно – все равно что оставить дверцы шкафа нараспашку. Будучи человеком аккуратным, я физически не мог так поступить. Поэтому я подошел к Соноко и ласково обнял ее сзади за плечи.

– Ты ведь приедешь, правда? – без тени сомнения спросила она.

В ее голосе звучала глубокая вера – даже не в меня, а во что-то незыблемое и важное. Плечи Соноко совсем не дрожали, лишь грудь вздымалась чуть чаще обычного.

– Да, наверно... Если буду жив.

Меня чуть не стошнило от собственных слов. С каким наслаждением я произнес бы что-нибудь более приличествующее мужчине моего возраста. Например: «Обязательно приеду! Никакие препятствия меня не остановят! Не волнуйся и жди. Я приеду, и ты станешь моей женой!»

В моих мыслях и чувствах то и дело наступает разлад, причем весьма любопытного свойства. Что заставило меня промямлить это позорное «да, наверно...»? Не мой характер и не моя натура, а нечто более глубинное, находящееся как бы вне моей компетенции, – то, за что я не отвечаю. При этом я всю жизнь до комичного старательно пытался разобраться и навести порядок в сфере, за которую, если воспользоваться тем же выражением, *я в ответе*. С детства я повторял себе, что лучше умереть, чем быть безвольным, слабым человеком, который сам не знает, чего ему нужно от жизни, и, не умея никого любить, хочет, чтобы любили его. Я мог бы предъявлять подобные запросы к той своей половине, что была мне подотчетна. Но там, куда моя власть не распространялась, любые усилия воли оказывались безрезультатными.

Например, в то утро силы самого Самсона не хватило бы, чтобы сдвинуть меня с места, заставить вести себя с Соноко достойно, по-мужски. Я видел, что предстаю перед ней человеком малодушным и жалким – именно таким, каким меньше всего хотел бы быть. От этого отвращение к себе многократно усилилось, я ощутил всю никчемность и ничтожность своего существования, от моего самомнения камня на камне не осталось. Я пришел к выводу, что не обладаю ни волей, ни характером. Да, моя хваленая воля оказалась мифом. Впрочем, нелепо и чересчур самонадеянно было требовать от нее так много. Ни один нормальный человек не может подчинять все свои поступки одной лишь воле. Поэтому, даже будь я самым разнормальным, все равно мне не дано было бы знать: действительно ли мы с Соноко созданы друг для друга. А может, мы все равно не нашли бы счастья? Так что ответ, вероятнее всего, был бы тем же самым: «Да, наверно...»

Но я не прибегаю даже к такому элементарному повороту мысли, чтобы хоть как-то

утешить себя. Казалось, мне нравится заниматься самоистязанием. На самом деле уловка подобного рода весьма распространена: тот, кто загнан в угол, любит воображать себя персонажем трагедии, находя в этом своеобразное успокоение...

Соноко тихо сказала:

– Не бойся. Тебя не убьют и не ранят. Я каждый вечер буду молить за тебя Христа. Знаешь, еще не было случая, чтобы мои молитвы оставались неслышанными.

– Ты религиозна? Вот чем объясняется такое удивительное спокойствие. Даже жуть берет.

– Почему?

Она подняла на меня свои мудрые черные глаза. Встретившись с этим невинным и чистым, как утренняя роса, взглядом, в котором не было и тени сомнения или подозрения, я растерялся и не нашелся что ответить. Мне хотелось растрясти эту девочку, пробудить ее от безмятежного сна, но вышло наоборот – глаза Соноко сами разбудили что-то дремавшее в моей душе.

В это время зашли попрощаться ее сестры, которым пора было в школу.

– До свидания.

Самая младшая непременно хотела пожать мне руку. Когда же я протянул ладонь, девочка просто пощекотала ее и вприпрыжку умчалась прочь. Я видел, как она бежит по улице, размахивая красным ранцем, и как на его золотых пряжках ярко вспыхивают солнечные лучи, просеянные сквозь листву.

Бабушка и мать Соноко пошли с нами на станцию, так что прощание получилось скомканным и несколько прохладным. Все шутили и делали вид, что ничего особенного не происходит. Наконец пришел поезд. Я сел у окна. Мне хотелось только одного – чтобы вагон скорее тронулся.

Внезапно я услышал звонкий голос, окликавший меня откуда-то сбоку. Это была Соноко – я сразу узнал. Но никогда еще ее свежий голос не взывал ко мне так громко, издалека. Когда этот ясный звук солнечным лучом проник в мою душу, я резко обернулся и увидел, что Соноко каким-то образом проникла через служебный вход на платформу и стоит у самой решетки, огораживавшей перрон. Кружева блузки, выбившись из-под клетчатой куртки, взволнованно трепещут на ветру. Широко раскрытые блестящие глаза смотрят на меня. Поезд тронулся, но я успел разглядеть, что полные губы Соноко зашевелились, словно она повторяла какое-то слово. А потом она скрылась вдали.

Соноко! Соноко! Покачиваясь в вагоне, я без конца повторял это имя. Оно казалось мне неким магическим заклинанием. Соноко! Соноко! На сердце делалось все тяжелее. «Соноко» – это слово терзало, казнило меня, я ощущал болезненную усталость. Невыразимая, какая-то прозрачная мука, природу которой я и сам не понимал, изводила меня. Она была столь мало похожа на обычные человеческие чувства, что я даже не сразу испытал боль. С чем бы ее сравнить? Представьте, что ярким и солнечным полднем вы ждете выстрела сигнальной пушки, всегда раздающегося ровно в двенадцать. Но вот полдень миновал, а пушка промолчала, и вы тщетно всматриваетесь в синее небо, ощущая смятение и ужас: а что, если на всем белом свете вы единственный, кто не услышал выстрела?

Все кончено, кончено, кончено, бормотал я, похожий в эти минуты на малодушного ученика, провалившегося на экзамене. Конец! Пропал! Я неправильно вычислил «икс»! Ах, если бы не эта ошибка, дальше все пошло бы как надо! Алгебраические задачи, которые

задает жизнь, нужно решать методом дедукции, как это делают все остальные, а не умничать, выдумывая собственные способы! Единственный из всех учеников, я выбрал метод индукции – и вот «сгорел».

Я так метался на своей скамье, что две сидевшие впереди женщины несколько раз оглядывались на меня с беспокойством. Одна из них была в синей форме Красного Креста. Вторая, бедно одетая крестьянка, судя по всему, приходилась медсестре материю. Почувствовав на себе их взгляды, я сердито посмотрел на дочку – это была толстая, краснощекая девица. Она смутилась и капризно сказала матери:

– Ой, я такая голодная!

– Что ты, рано еще.

– Ну, ма-а-ма, говорю тебе: есть хочется.

– Что с тобой будешь делать...

Мать сдалась и вытащила деревянную коробку со скудным завтраком – нас в арсенале и то лучше кормили. Там был лишь вареный рис и два ломтика редьки. Однако медсестра уплела это незавидное угощение с аппетитом. Никогда еще пристрастие людей к поглощению пищи не казалось мне таким нелепым. Я потер глаза. Диагноз был ясен: моя реакция означала, что я начисто утратил всякое желание жить.

К вечеру я добрался до загородного дома, где обитала моя семья. Впервые я всерьез задумался о самоубийстве. Но затея эта показалась мне сначала необычайно утомительной, а затем – даже комичной. Во-первых, я от природы так устроен, что не умею признавать себя побежденным. Ну а кроме того, смерть в те дни и без того собирала со своих полей небывало щедрый урожай. Можно было выбрать смерть на любой вкус: хочешь – под бомбами, хочешь – «при исполнении служебного долга», хочешь – от эпидемии, хочешь – в бою, хочешь – под колесами какого-нибудь грузовика, хочешь – попросту от какой-нибудь хвори. Мое имя наверняка уже занесено судьбой в один из этих списков. А разве кончает с собой тот, кто приговорен к смертной казни? Нет, к самоубийству эпоха явно не располагала. Хорошо бы так подгадать, чтобы меня убили, думал я. По сути дела, мысли такого рода были равнозначны надежде на то, что кто-нибудь (или что-нибудь) воскресит меня к жизни.

На второй день после того, как я вернулся в арсенал, пришло страстное письмо от Соноко. В нем звучала искренняя, неподдельная любовь. Я почувствовал укол ревности – так выращенная жемчужина завидует естественности жемчужины натуральной. Да мыслимо ли, чтобы мужчина испытывал ревность к чувству любящей его женщины?..

Проводив меня, Соноко села на велосипед и поехала на службу. Вид у нее был такой странный, что коллеги спрашивали, уж не заболела ли она. В работе Соноко постоянно делала ошибки, а в обеденный перерыв, вместо того чтобы ехать домой, свернула к той самой площадке для игры в гольф. Растоптанные нами цветы все еще желтели в траве. Потом туман начал рассеиваться, и Соноко увидела, как склон вулкана вспыхивает на солнце золотисто-коричневым цветом. Но из горного ущелья выползла мрачная туча, и ветви двух березок, двух нежных сестер, затрепетали от недоброго предчувствия.

Вот что происходило в то самое время, когда я трясся в вагоне и думал только об одном – как бы сбежать от любви, которую взрастил собственными руками...

И все же были минуты, когда мне удавалось утешить себя жалким, но не столь уж далеким от истины оправданием: если я в самом деле люблю Соноко, то просто обязан бежать от нее куда глаза глядят.

Я писал ей письма, стараясь не быть холодным, но в то же время и не дать нашей любви дальнейшего развития. Примерно через месяц Соноко написала, что ее брату вновь разрешили свидание с родными и что вся семья собирается к нему в училище, которое переехало в один из пригородов Токио. Слабость характера не позволила мне уклониться от встречи. К тому же, невзирая на твердую решимость избегать свиданий с Соноко, я чувствовал, что меня к ней тянет, и не мог противиться этой силе.

Я предстал перед Соноко совершенно переменившимся, а она осталась такой же, как прежде... Теперь я уже не смел разговаривать с ней в шутовском тоне. Все, конечно, заметили произошедшую перемену, но, очевидно, сочли мой насупленный вид свидетельством серьезности намерений.

В разговоре Кусано с самым добродушным видом обронил фразу, приведшую меня в трепет:

– Скоро получишь от меня одно очень важное письмо. Так что не вешай носа.

Письмо пришло через неделю, в выходной, который я проводил с семьей. С дружеской откровенностью Кусано писал мне своим характерным детским почерком:

*...Все домашние только и говорят что о вас с Соноко. Мне поручили быть чрезвычайным и полномочным послом. Дело вроде бы несложное, но я хочу знать, что ты об этом думаешь. Наши в тебя верят, а Соноко – больше всех. Мать, по-моему, уже подсчитывает, на какой день свадьбу назначить. Ну, о свадьбе говорить, наверно, рановато, но вот с помолвкой на вашем месте я бы поспешил.*

*Впрочем, возможно, все это лишь наши домыслы. Ты-то сам как настроен? Мои готовы встретиться с твоими родителями, чтобы все как следует обсудить. Только, пожалуйста, не думай, будто тебя собираются женить насильно. Просто напиши мне все как есть, начистоту, чтобы я не тревожился понапрасну. Если даже ты ответишь «нет», я не разозлюсь и не обижусь. Наша дружба от этого не пострадает. Конечно, я был бы очень рад услышать твое «да», но, повторяю еще раз, отказ меня не обидит. Главное – будь со мной искренен и честен. Не чувствуй себя обязанным или связанным... Одним словом, напиши мне как друг другу.*

Я онемел от ужаса. Потом воровато огляделся по сторонам – не видел ли кто из родственников, что я читаю письмо.

Случилось нечто, представлявшееся мне совершенно невозможным. Оказывается – кто бы мог подумать! – семья Кусано относилась к войне совсем иначе, чем я. Я слишком ее романтизировал – в конце концов, я ведь был всего лишь двадцатилетним студентом, выросшим в военные годы и работавшим на оборонном предприятии. Однако выяснилось, что, несмотря на все грозные несчастья, магнитная стрелка человеческих устремлений нисколько не отклонилась от своего обычного направления. Почему я не замечал этого раньше? Разве до недавнего времени сам я не грезил любовью?

Я перечитал письмо. На моих губах появилась странная, неопределенная улыбка. В груди приятно защекотало от самого банального чувства: я был выше этих людей, я победил их. В объективном смысле я мог считать себя счастливым, и никто не посмел бы меня за это упрекнуть. Однако у меня есть право пренебречь счастьем.

Хотя в глубине моей души царили тревога и невыразимая печаль, я пыжился изо всех

сил, кривя губы в иронической усмешке. Надо перепрыгнуть через одну маленькую канавку, и все встанет на свои места, говорил я себе. Достаточно взглянуть на события нескольких последних месяцев иными глазами. Все это был вздор и сушая чепуха. Я вовсе не любил девчонку по имени Соноко. Так – испытывал к ней интерес вполне определенного свойства (ох, как же я умел себя обманывать!), ну и пошутил немного с девочкой. Я имею полное право от нее отказаться – один поцелуй еще ничего не значит.

«Я не люблю Соноко!» – твердо решил я и преисполнился ликованием.

Все вышло наилучшим образом. Сохраняя полнейшее хладнокровие, я соблазнил юную девицу, а когда она втрескалась в меня не на шутку, бросил ее и даже не оглянулся. Вот какой роковой мужчина из меня, оказывается, получился! Большой же путь я прошел с тех пор, когда считался тихим и благонравным отличником...

Как мог я так себя дурачить? Ведь я отлично знал, что настоящий соблазнитель не бросил бы свою жертву, не достигнув цели. Но я упрямо закрывал на это глаза, похожий на вздорную бабу, не желающую видеть того, что может ее расстроить.

Теперь оставалось только придумать какой-нибудь ловкий способ отвертеться от этого брака. Действовал я решительно и целеустремленно, словно ревнивец, задумавший расстроить свадьбу своей любимой с другим мужчиной.

Я распахнул окно и громко позвал мать.

В залитом неистовым сиянием огороде росли помидоры и баклажаны, вызывающе подставляя солнцу свои пожухлые листья. Светило жгло раскаленными лучами толстые, мясистые стебли. Темная, буйная жизнь растительного мира ежилась и сжималась, придавливаемая к земле жаром и светом. За огородом была роща, из-за деревьев которой мрачно выглядывала синтоистская молельня. Еще дальше, в невидимой отсюда лощине, проходила железная дорога; время от времени земля начинала мягко подрагивать – это мимо проносилась электричка, и провода потом долго, уныло раскачивались, поблескивая на солнце. Фоном для пейзажа служили пузатые летние облака, многозначительно и одновременно бессмысленно ползавшие по небу.

В ответ на мой зов над грядкой поднялась большая соломенная шляпа с голубой лентой. Это была мать. Вторая шляпа, принадлежавшая ее брату, не шелохнулась, словно подсолнух с подломленным стеблем.

От деревенской жизни мать загорела, и я издали увидел, как на ее посмуглевшем лице блеснули белые зубы. Пронзительным, по-детски тонким голосом она крикнула:

– Чего тебе? Иди сам сюда, если я тебе нужна!

– У меня важное дело! Подойди-ка на минутку!

Мать медленно, с недовольным видом подошла к окну, поставила на подоконник корзину со зрелыми помидорами и спросила, в чем дело.

Я не стал показывать ей письмо, а просто обрисовал ситуацию вкратце. Зачем я ей все это говорю, думал я. Сам себя, что ли, пытаюсь убедить? Ровным тоном, сохраняя невозмутимое выражение лица, я перечислял причины, по которым этот брак представлялся мне несвоевременным. Во-первых, моей жене будет трудно ужиться под одной крышей с отцом, человеком нервным и раздражительным. А жить отдельно по нынешним временам мы не сможем. Потом, наша семья так консервативна и старомодна, не то что раскованное и беззаботное семейство Кусано. Вряд ли мои родители найдут общий язык с родственниками Соноко. А что касается меня, то я не готов в столь юном возрасте брать на себя такую ответственность. Рано мне еще жениться.

Я надеялся, что мать энергично поддержит мои сомнения. Но она повела себя иначе, не утратив своей обычной рассудительности и терпимости.

– Что-то я тебя не пойму, – пожала плечами мать, не проявляя особенного беспокойства. – Ты-то сам как настроен? Ты любишь эту девушку или нет?

– Ну, как тебе сказать... – Я замялся. – Я, в общем-то, серьезных намерений не имел. Хотел немного поразвлечься. А она приняла все за чистую монету. Вот теперь сам не знаю, как выпутываться...

– В этом случае все очень просто. Нужно устранить недоразумение как можно скорее – так будет лучше для вас обоих. Ведь твой друг пока только спрашивает, что ты по этому поводу думаешь, верно? Ну и ответь ему четко и ясно... Слушай, я пойду, а? Мы ведь уже все обсудили?

– Все, – вздохнул я.

У калитки мать вдруг остановилась и, мелко семеня, бросилась бегом обратно к дому. Теперь ее лицо выглядело встревоженным.

– Ты это... С Соноко... – Мать взглянула на меня каким-то новым, странным взглядом: так женщина смотрит на незнакомого мужчину. – Может быть, у вас уже... Может быть, вы уже...

– Не говори глупостей, – фыркнул я. Никогда в жизни я еще не смеялся с такой горечью. – Дурак я, что ли? Думаешь, я начисто лишен чувства ответственности?

– Ну хорошо, хорошо. Я просто так, на всякий случай. – Мать немного стусевалась, но заметно просветлела. – Для того мы, матери, и существуем, чтоб за своих детей переживать. Ладно-ладно, я тебе верю.

В тот вечер я написал Кусано о своем отказе, но так уклончиво и витиевато, что самому противно стало. Мол, его вопрос для меня – полная неожиданность, я еще не созрел для подобного решения, и все такое прочее.

Наутро по дороге в арсенал я занес свое послание на почту, чтобы отправить его заказным. Мои руки так тряслись, что приемщица взглянула на меня с явным подозрением. Я зачарованно смотрел, как она своими запачканными пальцами берет с моей ладони письмо и деловито шлепает по нему штампом. Мое несчастье было как бы официально зарегистрировано, и в этом мне почудилось нечто утешающее.

Теперь американцы бомбили в основном маленькие и средние города. Опасность на время отступила. В студенческой среде стало модно рассуждать о капитуляции. Один из молодых доцентов позволял себе довольно смелые высказывания на эту тему, явно стремясь завоевать популярность среди студентов. Глядя, как довольно морщит он свой короткий носик, излагая подрывные, скептические идеи, я думал: нет, приятель, уж меня-то ты не проведешь. Правда, и фанатичные идиоты, все еще твердившие о войне до победного конца, симпатий у меня тоже не вызывали. Мне было абсолютно безразлично, чем эта война закончится – победой или поражением. Я хотел только одного – родиться заново.

Однажды у меня вдруг резко поднялась температура, и я решил отлежаться дома. Я метался в постели, глядя воспаленными глазами на расплывающийся потолок, и, словно молитву, повторял имя Соноко. Потом мне стало немного лучше, и тут до столицы дошла весть о Хиросиме.

Я понял, что времени почти не остается. Все говорили только об одном: следующий

удар будет нанесен по Токио.

Помню, как я без конца бродил по улицам, одетый в белые шорты и белую рубашку. У прохожих были удивительно светлые лица – люди дошли до последней черты, когда бояться уже нечего. Но время шло, а ничего не происходило. Мир стал похож на воздушный шарик, который раздули сверх всякой меры – вот-вот лопнет. Однако он все не лопался. Так прошло дней десять. Казалось, еще чуть-чуть – и все мы сойдем с ума.

Как-то днем в небе появились тонкие, не похожие на бомбардировщики самолеты и, не обращая внимания на вялый огонь зениток, сбросили на город листовки. В них говорилось, что Японии предложено капитулировать.

Вечером к нам за город прямо со службы приехал отец. Он сел на краю веранды и сказал:

– А листовки-то не врут. – И показал английский оригинал обращения, раздобытый из какого-то верного источника.

Я взял листок в руки и с первого взгляда, еще даже не успев прочитать текст, понял: свершилось. До капитуляции мне дела не было. Но произошло нечто куда более ужасное – я понял, какие страшные времена меня теперь ожидают. Хочу я или не хочу, но уже с завтрашнего дня начинается та самая «обычная жизнь», в возможность которой я столь долго отказывался верить. Обычная жизнь – от одного этого словосочетания меня бросило в дрожь.

## Глава четвертая

К моему удивлению, пугавшая меня обычная жизнь не торопилась начинаться. Взамен воцарилось состояние всеобщего смятения, и люди думали о пресловутом «завтрашнем дне» еще меньше, чем во время войны.

Вернулся из армии мой знакомый, у которого я одалживал студенческий мундир, – пришлось отдать. Однако я тешил себя иллюзией, что, сменив наряд, освобожусь от воспоминаний и вообще от прошлого.

Умерла младшая сестра. Обнаружилось, что я, оказывается, умею плакать, – это подействовало на меня успокаивающе. Я узнал, что Соноко сосватана и обручена с каким-то мужчиной. Вскоре после похорон моей сестры они справили свадьбу. Можно ли назвать облегчением чувство, которое я испытал при этом известии? Безусловно, я пытался уверить себя, что очень рад такому исходу. Что может быть естественнее подобного финала – ведь это я ее бросил, а не она меня?

С давних пор я приучил себя трактовать любые удары судьбы как великую победу моей воли и разума. Временами моя спесь граничила с безумием. При этом в упоении собственным хитроумием было что-то подловатое и недоделанное – так ликует самозванец, волей случая оказавшийся на королевском троне. И невдомек несчастному болвану, что расплата за глупую удачу и бессмысленный деспотизм неотвратима и близка.

Весь следующий год я пребывал в смутно-оптимистическом настроении. Учил свою юриспруденцию, с постоянством заведенного механизма курсировал из дома в университет и обратно. Никто не обращал на меня внимания, и я платил окружающим той же монетой. На лице моем теперь постоянно блуждала отрешенно-мудрая улыбка молодого монашка. Я и сам не знал – жив я или уже умер. Казалось, я забыл обо всем на свете. Даже о своей несбывшейся мечте совершить естественное, ненарочитое самоубийство – самоубийство войной.

Истинная боль никогда не ощущается сразу. Она похожа на чахотку: когда человек замечает первые симптомы, это значит, что болезнь уже достигла едва ли не последней стадии.

Однажды я стоял у прилавка книжного магазина (в последнее время появлялось все больше новых изданий) и листал переводную книжку в дешевом бумажном переплете. Это был сборник эссе какого-то французского автора. Вдруг в глаза мне бросилась одна строчка. Охваченный нехорошим предчувствием, я тут же захлопнул книгу и положил ее на место.

Наутро, по дороге в университет, повинувшись безотчетному импульсу, я внезапно завернул в магазин и купил-таки этот сборник. На лекции по гражданскому праву я достал книжку и, прикрыв ее тетрадью с конспектами, отыскал ту страницу. Когда я перечитал злополучную строку, она произвела на меня еще более тягостное впечатление, чем накануне.

*...Сила женщины определяется степенью страдания, которой она способна покарать своего возлюбленного.*

В университете я сблизился с одним из студентов. Он был из семьи известных кондитеров. На первый взгляд он казался обычным, скучным зубрилой. Однако, глядя на его фигуру, такую же тщедушную, как и моя, и выслушивая его иронически-циничные суждения

о жизни и людях, я чувствовал, как мы с ним похожи. Но мой цинизм был лишь средством самозащиты и способом пускать окружающим пыль в глаза, не более. У моего же нового приятеля пренебрежительное отношение к жизни было явно неподдельным и зижделось на глубочайшей уверенности в самом себе. «Откуда у него эта уверенность?» – недоумевал я. Довольно скоро мой друг безошибочно определил, что я еще девственник, и с видом превосходства, к которому, впрочем, примешивалась доля снисходительного презрения к себе, признался: он частенько посещает бордель.

– Если захочешь последовать моему примеру, дам телефончик, – предложил он. – Да и компанию могу составить.

– Учту, – ответил я. – Наверно, скоро уже созрею. Вот только решимости поднакоплю.

Вид у него был одновременно и смущенный и горделивый. Очевидно, он думал, что отлично понимает мои чувства, и вспоминал собственную стыдливую нерешительность в аналогичной ситуации. Мне стало не по себе. Как бы я хотел, чтобы его представления о моих нынешних чувствах совпадали с подлинными моими переживаниями...

Целомудрие – разновидность эгоизма, в основе которого лежит все то же физическое желание. Однако путь даже к такому убежищу оказался для меня закрыт – слишком уж неистовы были мои тайные вожеления. В то же время страсть воображаемая, выдуманная – примитивное и чисто абстрактное любопытство к женскому полу – могла дать мне холодную свободу, не нуждающуюся в морализировании. Любопытство не ведает этики. Возможно, это самая безнравственная из человеческих страстей.

Втайне я занялся смехотворными упражнениями: подолгу смотрел на открытки с голыми женщинами и прислушивался к себе – не проснется ли желание. Естественно, ничего не происходило. Тогда я пробовал натаскивать себя по-другому: начинал предаваться своей «дурной привычке», пытаюсь на первом этапе избавиться от своих обычных фантазий, а на следующем – вообразить себе женщину в какой-нибудь непристойной позе. Иногда мне казалось, что получается. Но сердце не обманешь – оно чувствовало тщетность этих усилий и безнадежно сжималось.

Наконец я решил – будь что будет – и позвонил своему приятелю. Мы договорились встретиться в ближайшее воскресенье, в пять часов. Была середина января второго послевоенного года.

– Решился наконец? – засмеялся мой друг, когда я изложил свою просьбу. – Ну и молодец. Обязательно приду. Только смотри не струсь в последний момент.

Его смех еще долго звучал у меня в ушах. Я сумел лишь слабо и вымученно улыбнуться. Но в душе все же теплилась какая-то надежда. Или, вернее сказать, мистическое суеверие. Это было весьма опасное чувство. Чаще всего люди ввязываются в рискованное предприятие, поддаваясь суетному голосу тщеславия. Вот и я пустился в эту авантюру, побуждаемый ложным стыдом: как же, ведь мне двадцать два года, а я все еще девственник!

Кстати говоря, я отважился на столь решительный шаг как раз в день своего рождения...

Мы встретились в кафе. Обменялись изучающими взглядами. Мой приятель отлично понимал, что в такой ситуации и напрасная серьезность, и веселая развязность одинаково неуместны, а потому молчал и лишь пускал струйки табачного дыма. Потом сделал несколько критических замечаний по поводу поданных нам пирожных. Не дослушав, я сказал:

– Наверно, ты и сам понимаешь, что человек, оказывающий такого рода услугу, становится или другом на всю жизнь, или заклятым врагом.

– Не пугай меня. Сам знаешь, я не из храбрцов. На роль заклятого врага вряд ли сгожусь.

– Восхищен столь безжалостной оценкой собственной персоны, – ответил я ему в тон.

– Однако приступим к делу, – с важным и ответственным видом заявил он. – Для начала нужно как следует дерябнуть. Новичку являться туда трезвым не рекомендуется.

– Нет, пить не буду, – произнес я, чувствуя, как холодеют щеки. – Ни в коем случае. Поддавать для храбрости – это не мой стиль.

Дальше все было так: темный трамвай, такой же темный вагон электрички, незнакомая станция, незнакомая улица, какие-то бараки, женские лица в мерцающем свете лиловых и красных огней. Клиенты молча прогуливались вдоль заведений, мягко и неслышно ступая по размокшей от оттепели грязи.

Я не испытывал и тени вожделения – лишь смутную тревогу, не позволявшую повернуть обратно. Так капризничаящий ребенок требует полдника, хотя ему вовсе не хочется есть.

– Слушай, хватит выбирать. Мне все равно, – сказал я, чувствуя, что еще немного – и побегу прочь от этих с придыханием зовущих женских голосов: «Иди ко мне. Ко мне, красавчик...»

– Нет, в это заведение не стоит. Там девки сомнительные. Сюда хочешь? Господи, ну и рожу ты выбрал. Ладно, здесь хоть, по крайней мере, сравнительно безопасно.

– Плевать мне на рожу.

– Ну смотри. А я для контраста возьму вон ту, смазливенькую. И чтоб без претензий потом, уговор?

При нашем приближении обе женщины разом, как по команде, встали. Потолок в заведении был низкий, я почти касался его головой. Долговязая баба широко улыбнулась мне, обнажив десны и золотые коронки. Потом, что-то приговаривая на северном диалекте, отвела в маленькую комнатку.

Из чувства долга я обнял проститутку за талию. Хотел было поцеловать, но она захихикала, трясая толстыми плечами:

– Придумал! Помаду сотрешь! Вот как надо-то, гляди.

Проститутка широко раскрыла рот, и меж размалеванных губ и золотых зубов показался толстый, как палка, язык. Я тоже высунул свой. Наши языки соприкоснулись...

Вряд ли вы меня поймете, если я скажу, что иногда бесчувствие бывает мучительней самой острой боли. Но все мое существо содрогнулось от невыносимого физического страдания – и при этом я ровным счетом ничего не ощущал... Моя голова упала на подушку.

Десять минут спустя стало окончательно ясно, что я безнадежен. От стыда у меня дрожали колени.

Я уверил себя, что мой приятель ни о чем не догадался, и несколько дней даже пребывал в странно приподнятом настроении, словно человек, пошедший на поправку после тяжелой болезни. Вернее, как тот, кто ощущал признаки неизлечимого недуга, изводился мучительными подозрениями и вот наконец узнал, как называется его болезнь. Он отлично понимает, что испытываемое им облегчение недолговечно, но предчувствует: впереди его ожидает более прочное и основательное умиротворение, зиждущееся на безнадежности и обреченности. Вот и я тоже с нетерпением ждал окончательного, последнего удара, а стало быть – окончательного, последнего удовлетворения.

В течение следующего месяца я много раз встречался со своим приятелем в

университете, но мы избегали разговоров о том вечере. Однажды он явился ко мне в сопровождении одного нашего общего знакомого, считавшегося большим знатоком по женской части. Тот любил хвастаться, что нет на свете бабы, которую он не «сделал» бы за пятнадцать минут.

Вскоре наша беседа свернула в неизбежное русло.

– Я прямо замучился. Ничего с собой поделать не могу, – сказал покоритель женских сердец, со значением глядя мне в глаза. – Завидую тем, у кого импотенция, ей-богу! Посылает же Господь людям такое счастье!

Увидев, как я переменялся в лице, мой приятель поспешил перебить его, чтобы сменить тему:

– Ты мне обещал книгу о Марселе Прусте. Интересная?

– Еще какая! Оказывается, Пруст был содомитом и путался со своими лакеями.

– Кем-кем он был? – переспросил я, делая вид, будто не знаю этого слова.

Таким по-детски беспомощным способом я хотел изобразить полнейшую невинность, а заодно выведать, известно ли им о моем тайном позоре.

– Ну, содомитом. Гомосексуалистом. Не знаешь, что ли?

– Кто, Пруст? Впервые слышу, – дрожащим голосом ответил я.

Ни в коем случае нельзя было показывать свое смятение – сразу догадаются. Однако попытка прикинуться невозмутимым столь явно и постыдно провалилась, что мне стало страшно. Мой приятель наверняка все понял. Во всяком случае, он старательно избегал смотреть мне в лицо. Или мне это показалось?

Этот мучительный визит продолжался до одиннадцати часов вечера. Всю ночь я не сомкнул глаз. Долго плакал навзрыд, а потом, как обычно, на выручку пришли мои кровавые фантазии. И я обрел утешение в этих чудовищных видениях, самых близких и верных моих друзьях.

Нужно было как-то развеяться. Я стал бывать у одного старого знакомого, где часто собирались гости – приятно провести время и поболтать о чем-нибудь пустом и незначительном. Я отлично понимал бессмысленность подобного досуга, но ощущал себя на этих светских сборищах куда лучше и свободнее, чем в студенческой компании. У моего знакомого бывали стильные девицы, молоденькие, совсем недавно вышедшие замуж дамы, одна оперная певица, восходящая звезда фортепьянного искусства и так далее. Гости танцевали, выпивали, играли в разные немудрящие игры с легким эротическим оттенком – например, в жмурки. Иногда веселье продолжалось до рассвета.

Под утро все выбивались из сил, и иногда кто-нибудь засыпал прямо во время танца. Тогда, чтобы встряхнуться, мы затевали новую игру: разбрасывали по полу подушки, и, когда пластинка останавливалась, танцующим парам полагалось по двое плюхаться на ближайшую подушку. Тот, кому не хватило места, должен был в качестве штрафа исполнить какой-нибудь номер. Всякий раз, когда пластинка останавливалась, начинался страшный переполох – все толкались, женщины постепенно переставали обращать внимание на приличия. Помню, как самая хорошенькая из девиц шлепнулась на подушку так стремительно, что юбка задралась у нее чуть не до пояса, а она, слегка захмелевшая от вина, лишь беззаботно расхохоталась. Ляжки у нее были белые-пребелые.

В прежние времена я, продолжая свое извечное лицедейство, поступил бы так же, как обыкновенный юноша, стыдящийся своей возбудимости, – то есть отвел бы глаза. Но с того

памятного вечера что-то во мне переменялось. Без малейшего стыда – я имею в виду стыд по поводу собственного бесстыдства – я уставился на эти белые ляжки, словно на какой-то неживой предмет. От напряжения защипало в глазах. Моя боль сказала мне: «Ты – не человек. Тебя нельзя и близко подпускать к другим людям. Ты – грустное и ни на что не похожее животное».

К счастью, близилось время государственных экзаменов, и неизбежная, иссушающая мозг зубрежка отнимала все мои телесные и душевные силы, давая передышку от страданий. Однако продолжалось это недолго. С того проклятого вечера моя жизнь наполнилась ощущением бессилия, в душе царило уныние и все валялось у меня из рук. С каждым днем я испытывал все более острую потребность доказать себе, что я не абсолютный импотент и хоть на что-то годен. Если не сумею, думал я, то незачем и жить. Но я был лишен возможности осуществить свои извращенные мечты. В стране, где я жил, нечего было и думать о воплощении в жизнь даже самой скромной из моих фантазий.

Наступила весна, и мной овладело безумное раздражение, которое я скрывал под маской невозмутимого спокойствия. Казалось, сама природа прониклась к моей особе враждебностью, нарочно хлеща меня по лицу пыльными ветрами. Если мимо на большой скорости проносился автомобиль, я мысленно кричал вслед: «Почему ты меня не сбил?!»

Я с наслаждением изводил себя зубрежкой и спартанской жизнью. В перерывах между занятиями я выходил прогуляться и не раз замечал, что прохожие с недоумением поглядывают на мои налитые кровью глаза. Окружающим казалось, что я тружусь в поте лица. На самом же деле я постигал науку жизни без будущего, где властвуют безволие, распушенность и непреходящая усталость. Но вот однажды в конце весны, когда я ехал в трамвае, сердце мое заколотилось так стремительно и часто, что я едва не задохнулся.

С противоположной стороны прохода сидела Соноко. Я отчетливо увидел детские брови и серьезные лучистые глаза, в которых читалась невыразимая нежность. Я чуть не вскочил с места, но тут пассажир, стоявший в проходе, продвинулся вперед, я смог разглядеть девушку напротив как следует и убедился, что ошибся. Это была не Соноко.

Однако сердце билось все так же часто. Легче всего было бы объяснить свое волнение неожиданностью или даже чувством вины, но отчего на душе сделалось чисто и светло? Это было то самое незабываемое чувство – я сразу его угадал, – что охватило меня в памятное утро девятого марта, когда я увидел Соноко, спускавшуюся по лестнице на перрон. Даже привкус пронзившей душу скорби был совершенно тем же.

Теперь я уже не мог заставить себя вычеркнуть из памяти мучительное воспоминание, и в течение нескольких последующих дней оно волновало меня все сильнее и сильнее. Я говорил себе: «Нет, не может быть! Ты уже не любишь Соноко. Ты вообще не способен любить женщину». Эти мысли, еще вчера бывшие моими верными и преданными союзниками, сегодня изменили мне и вызывали лишь чувство протеста.

Так в моей душе свершился новый мучительный переворот, в результате которого к власти пришли старые воспоминания – те самые, что два года назад я отбросил, сочтя пошлыми и незначительными. Подобно забытому незаконнорожденному сыну, они внезапно предстали передо мной до неузнаваемости выросшими и возмужавшими. В них не было ни слащавой приторности, в которую мне случалось впадать в период общения с Соноко, ни делового практицизма, с каким позднее я покончил со своим чувством. Они представляли собой абсолютное страдание в беспримесном и незамутненном виде. О, если бы речь шла о

позднем раскаянии, я бы вынес муку – слава богу, эта тропа протоптана многими предшественниками. Но нет, то было не раскаяние, а боль совсем иного рода: будто стоишь у окна, смотришь вниз и не можешь оторвать взгляд от режущей глаза линии, что делит залитую слепящим солнцем улицу на зону света и зону тени.

Как-то в начале лета, дождливым и пасмурным днем, я отправился по делу в квартал Адзабу, где прежде почти не бывал. Сзади меня окликнули. Я обернулся – Соноко. Увидев ее, я испытал гораздо меньшее потрясение, чем в трамвае, когда по ошибке принял за нее другую. Наша случайная встреча показалась мне совершенно естественной, будто я заранее знал, что она произойдет. Да, я знаю, что рано или поздно этот миг настанет.

Соноко была одета очень скромно – никаких украшений, если не считать кружев на воротничке; платье в цветочек, узором похожее на обои. Став замужней женщиной, она ничуть не изменилась. Очевидно, Соноко только что получила по карточкам паек – она несла ведро, и еще одно такое же тащила шедшая рядом старая служанка. Соноко отправила старуху вперед, и мы отстали, замедлив шаг.

– А ты похудел.

– К экзаменам готовлюсь...

– Понятно. Смотри не надорвись, а то заболеешь еще.

Мы немного помолчали. Свернули на уцелевшую после бомбежек улицу Ясики. Сквозь облака проглянуло тусклое солнце. Из двора вышла мокрая утка, переваливаясь и отчаянно крякая, пересекла дорогу и плюхнулась в канаву с водой. Я чувствовал себя совершенно счастливым.

– Что ты сейчас читаешь? – спросил я.

– «О вкусах не спорят» Танидзаки. И еще...

– А книгу А. ты читала?

Я назвал роман, о котором тогда много говорили.

– Это с голой женщиной?

– С какой женщиной? – не понял я.

– Ну, там еще голая женщина на обложке. Гадость какая!

Два года назад Соноко ни за что не произнесла бы вот так запросто «голая женщина». Конечно, мелочь и ерунда, но я очень болезненно ощутил, что передо мной уже не прежняя чистая девушка. На углу Соноко остановилась.

– Вот я почти и дома.

Мне было горько расставаться, и, чтобы скрыть свои чувства, я опустил глаза и заглянул в ведро. Там лежала паста конняку. Цветом она напоминала кожу хорошо загоревшей на море женщины.

– Нельзя держать конняку на солнце. Испортится, – сказал я.

– Ни за что. Я же понимаю весь груз своей ответственности, – фыркнула Соноко.

– Ну, до свидания.

– Ага. Всего тебе хорошего.

Она отвернулась и пошла прочь, но я ее окликнул. Спросил, бывает ли она в родительском доме. Соноко беззаботно ответила, что как раз собирается туда в ближайшую субботу.

И лишь оставшись один, я понял одну очень важную вещь: Соноко явно не затаила на меня зла. Почему она меня простила? Может ли быть что-нибудь более оскорбительное, чем такое великодушие? Я решил, что нужно встретиться с ней еще раз. Пусть она меня снова

оскорбит, – возможно, это облегчит мои страдания.

Я ждал субботы с мучительным нетерпением. Мой старый друг Кусано, учившийся в Киото, очень кстати приехал проведать родных, так что предлог для визита выдумывать не пришлось.

Мы сидели у него в комнате и разговаривали. Вдруг я услышал звуки, поначалу показавшиеся мне наваждением: кто-то играл на пианино. Но уже не по-ученически, а уверенно, полнозвучно и стремительно, с блеском.

– Кто это?

– Соноко. Пришла проведать, – ответил ни о чем не подозревавший Кусано.

В моей душе с мучительной ясностью одно за другим воскресли образы прошлого. По доброте душевной Кусано избегал всяких упоминаний о своем неудачливом сватовстве и моем витиеватом отказе. А мне так хотелось поговорить на эту тему! Если бы я узнал, что Соноко тогда тоже страдала – хотя бы совсем чуть-чуть, – то не чувствовал бы себя столь одиноко в своем несчастье. Но мои отношения с Кусано и Соноко успели зарости временем, словно сорной травой; любые душевные излияния стали невозможны – в них неизбежно ощущалась бы фальшь, нарочитость и неловкость.

Звуки пианино оборвались.

– Привести ее? – спросил Кусано.

Он вышел и вернулся вместе с Соноко. Сначала разговор зашел о каких-то знакомых ее мужа, служившего в Министерстве иностранных дел. Мы все трое изображали веселость, то и дело смеялись.

Потом моего приятеля зачем-то позвала мать, и мы с Соноко остались вдвоем, как в былые времена.

Она стала с гордостью рассказывать, как благодаря усилиям ее мужа дом семьи Кусано удалось спасти от реквизиции. Прежде я любил слушать, как Соноко чем-нибудь хвастается: у нее это получалось очень невинно, по-детски, и в то же время женственно и мило. Я всегда считал, что излишняя скромность, как, впрочем, и излишняя заносчивость, женщине не к лицу. Соноко удавалось держаться как раз посередине.

– Знаешь, – вдруг тихо сказала она, – я давно хочу тебя кое о чем спросить. Почему мы не поженились? Когда брат сообщил мне о твоём отказе, я почувствовала, что ничего не понимаю в этой жизни. День за днем думала, думала, но так и не нашла ответа. Я и сейчас не понимаю, почему так вышло...

Соноко отвернулась – и я увидел, что на щеке ее выступил сердитый румянец, – и каким-то механическим голосом спросила:

– Я тебе не нравилась, да?

От этого прямого, в лоб, вопроса, который кому-то мог бы показаться сухим и деловитым, я на миг ощутил трепет неистовой радости. Но низменное ликование почти сразу же сменилось ощущением боли. К давней моей муке еще прибавилась горечь уязвленного самолюбия: оказывается, и через два года «заурядного любовного приключения» (ведь именно так я его классифицировал) сердце саднило все так же сильно. Я хотел обрести свободу и по-прежнему не мог.

– Ты действительно ничего не знаешь о жизни, – сказал я. – В этом твое очарование. Но мир устроен таким образом, что люди, любящие друг друга, не всегда могут соединиться. Примерно об этом я и написал в письме твоему брату. Кроме того... – Я понял, что сейчас скажу нечто очень немужское, и хотел было замолчать, но не удержался: – Кроме того, я

ведь не писал, что отказываюсь от брака. Просто все произошло так неожиданно, мне было только двадцать лет, я едва поступил в университет... И вот, пока я пытался разобраться в своих чувствах, ты взяла и выскочила замуж.

– И не жалею об этом. Муж меня любит, я его тоже. Я счастлива, о лучшем и мечтать не приходится. Вот только иногда... Я знаю, это дурно, но иногда вдруг начинаю воображать себе, какой бы я была, сложись жизнь иначе. Сразу все запутывается, и я ловлю себя на том, что вот-вот скажу такое, чего говорить нельзя... И думаю о том, о чем не имею права думать. Мне делается страшно. Но муж всегда приходит мне на помощь. Он обращается со мной очень бережно, как с малым ребенком.

– Я знаю, что это прозвучит самодовольно, но признайся: ты ведь ненавидишь меня в такие минуты? От всей души ненавидишь, да?

Бедная Соноко и понятия не имела, что означает слово «ненависть». Она надула губки и серьезно ответила:

– Это уж думай себе как хочешь.

– Давай встретимся еще раз, – выпалил я. – Вдвоем – только ты и я. Тебе нечего опасаться. Я просто хочу еще раз увидеть твое лицо. Даже говорить ничего не буду – у меня нет на это прав. Можем вообще рта не раскрывать. Всего полчаса, а?

– Ну встретимся, и что? А потом ты скажешь: давай еще раз. У меня свекровь дотошная. Всегда спрашивает – куда иду, когда вернусь. Какие уж тут встречи. Хотя... – Соноко запнулась. – Человеческая душа так странно устроена. Поди в ней разберись...

– Не разберешься! Однако ты ничуть не изменилась. Нельзя ко всему относиться так серьезно! Смотри на вещи проще, – отчаянно врал я. – Не рефлексируй.

– ...Это мужчинам так можно. А замужней женщине нельзя. Вот будет у тебя жена – сам поймешь. Как бы серьезно я к вещам ни относилась, мне все кажется, что надо бы еще серьезней...

– Ты прямо как старшая сестра – жизни меня учишь.

Но тут вернулся Кусано, и разговор прервался.

Во все время беседы с Соноко меня одолевали жгучие сомнения. Клянусь Богом – я совершенно искренне хотел встретиться с ней вновь. Но ничего чувственного в этом желании не было. Зачем же тогда понадобилось мне просить о свидании? Ведь страсть, лишённая своей плотской основы, не может не быть самообманом! А если она даже истинна, то все равно пламя ее должно быть хилым, ибо раздувается напоказ, через силу. Страсти без физического желания не бывает – это явный и несомненный абсурд!

Но позже мне пришла в голову другая мысль. Если человеческая страсть обладает силой, позволяющей ей воспарять над многими несуразностями, то не способна ли она возвыситься и над собственной абсурдностью?

С той памятной, решающей ночи я старался избежать любого контакта с женщинами. Ни разу не коснулся женских губ (а о пробуждавших во мне истинную страсть губах эфеба и говорить нечего). Иной раз мое упорное нежелание поцеловать кого-нибудь из родственниц граничило с невежливостью.

Потом настало лето и еще неистовее, чем весна, принялось изводить меня одиночеством. Жара необычайно воспалила мои телесные порывы – я горел и извивался, как в огне. Чтобы облегчить страдания, я был вынужден предаваться «дурной привычке» до пяти

раз на дню.

На многое мне открыл глаза Хиршфельд, рассматривающий половое извращение как обыкновенное явление чисто биологического порядка. Я узнал, что события роковой ночи были совершенно естественны и стыдиться тут нечего. Мое тайное увлечение эфебами, так и не перешедшее в стадию практического гомосексуализма, обладало всеми характерными признаками, перечисленными ученым. Оказывается, у немцев мой недуг довольно распространен. Яркий пример подобного извращения – дневник Августа Платена. Называет ученый и Иоганна Винкельмана. А среди великих художников итальянского Возрождения такие же склонности, как у меня, проявлял сам Микеланджело.

Однако никакие научные разъяснения не могли дать мне душевного покоя. В моем случае извращению никак не удавалось воплотиться на практике; оно оставалось всего лишь темным импульсом – беспомощным и тщетно взывающим к рассудку. Я возделел своих соблазнительных эфэбов, но дальше фантазий дело не шло. Выражаясь языком тривиальным, моя душа все еще принадлежала Соноко. Я скептически отношусь к средневековой теории борьбы духа и плоти, но все же воспользуюсь этими терминами: совершенно очевидно, что дух и плоть во мне существовали отдельно. Любовь к Соноко воплощала тоску по нормальности, по всему духовному и непреходящему.

Но столь простым объяснением обойтись вряд ли удастся. Сфера чувств не признает стабильности и порядка. Подобно рассеянным в эфире частицам, чувства предпочитают жить собственной жизнью, свободно паря и находясь в постоянном движении...

Прошел целый год, прежде чем мы с Соноко пробудились. Я благополучно сдал государственные экзамены, получил диплом, стал работать в министерстве. Раз в два-три месяца мы встречались – то как бы случайно, то по какому-нибудь пустяковому поводу. Свидания наши всякий раз происходили среди бела дня и продолжались час-два, не больше. Мы встречались, говорили о какой-нибудь ерунде и расходились – только и всего. Никто бы не усмотрел в моем поведении чего-нибудь предосудительного. Соноко тоже вела себя очень сдержанно – разве что изредка вспомнит тот или иной эпизод из прошлого либо осторожно пошутит по поводу нашей нынешней ситуации. Наши отношения нельзя было назвать «романом». Да, собственно, и слово «отношения» казалось не очень подходящим. Разговаривая, мы оба думали только о том, как бы поестественнее закончить свидание.

Но меня такое положение дел совершенно устраивало. Я не уставал благодарить (судьбу, Бога – сам не знаю кого) за волшебное богатство этой не желавшей прерываться связи. Каждый день мои мысли были заняты Соноко, а во время встреч я испытывал счастливое умиротворение. Свидания вносили в мою жизнь восхитительное волнение и симметрическую ясность, мое существование обретало хрупкую, но кристально чистую гармонию.

Но, повторяю еще раз, прошел год, и мы пробудились. Оказалось, что мы – давно уже не в детской, а в комнате для взрослых, где двери, открывающиеся лишь наполовину, полагается чинить. Вот и наши отношения напоминали такую дверь – следовало с ней что-то сделать, чтобы она открылась до конца. И еще выяснилось, что взрослые, в отличие от детей, не умеют играть в однообразные, нескончаемые игры, а наши с Соноко свидания были неотличимы одно от другого, как тасуемые карты.

Я получал от этой связи особое, только мне понятное, совершенно аморальное наслаждение. По своей утонченности оно превосходило обычные радости порока, было

изысканным и омерзительным, как медленно действующий яд. Я аморален по самой своей природе – это главный закон моего существования. Поэтому безусловно нравственные отношения с замужней женщиной, афиширование собственной порядочности – одним словом, маска добродетельного человека – приносили мне тайную радость, несомненно сатанинскую по своей сути.

Мы с Соноко как бы держали в руках нечто эфемерное, газообразное: если веришь в существование этой ноши – она есть; не веришь – она исчезнет. На первый взгляд нести столь невесомый груз – дело нетрудное; но если бы вы знали, какого мастерства и точного расчета требует подобное занятие! Искусственным путем я синтезировал в этом магическом пространстве то, что называл «нормальностью», а бедную Соноко обманом втянул в опаснейшую игру – удерживать на весу воздушную, почти химерическую любовь. Она стала соучастницей, так ничего и не поняв. Впрочем, наверное, именно в силу неведения ее помощь оказалась столь эффективной. Однако со временем даже Соноко смутно начала чувствовать притягивающую силу этой безымянной, но ясно ощутимой опасности, так мало похожей на обычные незамысловатые опасности повседневной жизни.

Как-то в конце лета мы встретились в ресторане «Золотой петух». Соноко только что вернулась с горного курорта. Я сразу же сказал ей, что собираюсь уволиться из министерства.

– Что ж ты будешь делать?

– Там видно будет.

– Вот так сюрприз! – сказала она и больше ни о чем расспрашивать не стала: таковы были негласные правила разработанной нами игры.

Соноко сильно загорела, и кожа в вырезе ее платья утратила всегдашнюю ослепительную белизну. На пальце у нее было кольцо с несоразмерно крупной жемчужиной, печально затуманившейся от влажной духоты. Слушая голос Соноко – тонкий, печальный и немного вялый, – я подумал, что его мелодия как нельзя лучше соответствует настроению позднего лета.

Какое-то время мы вели пустой и неискренний разговор, без конца возвращавшийся к одному и тому же, как бы прокручивавшийся на холостом ходу. Иногда – возможно, от жары – мне казалось, что я подслушиваю чужую беседу. Думаю, мы оба испытывали ощущение человека, не желающего пробуждаться от приятного сна, но уже пересекшего границу яви, – теперь чем усерднее будет он манить к себе, тем окончательней сон удалится. Я чувствовал, как острое беспокойство пробуждения смешивается с бесплодной сладостью уходящего сна и раковой опухолью разъедает наши души. Болезнь поразила одновременно нас обоих, словно действовала по заранее разработанному плану. Но первый симптом был неожиданным – нам стало весело. И я, и Соноко принялись наперебой сыпать шутками.

Загар и модная высокая прическа несколько изменили облик Соноко, но лицо ее по-прежнему дышало спокойной безмятежностью, ощутимой и в детских бровях, и в нежно блестящих глазах, и в припухлых губах. Я заметил, что проходившие мимо нашего столика женщины непременно задерживали на Соноко взгляд. Появился официант с серебряным подносом, на котором красовался большой ледяной лебедь, весь уставленный вазочками с мороженым. Соноко, сверкнув жемчужиной, щелкнула застежкой сумки.

– Тебе со мной скучно? – спросил я.

– Зачем ты так говоришь? Вовсе нет.

В ее голосе я уловил странную усталость. Или лучше сказать «обворожительную

усталость»? Соноко отвернулась к окну и стала смотреть на залитую солнцем улицу. Потом медленно проговорила:

– Я иногда перестаю понимать, зачем мы с тобой встречаемся. Но всякий раз снова прихожу...

– И все же наши встречи – не бессмысленный минус. Скорее – бессмысленный плюс.

– Между прочим, у меня есть муж. Так что никаких «бессмысленных плюсов» тут быть не должно. И каких-либо других «плюсов» тоже.

– Нелегкая математика, верно?

Я понял, что Соноко наконец приблизилась к вратам сомнения, начала понимать, что двери не могут открываться лишь наполовину. Должно быть, в нашем с Соноко совместном душевном пространстве важное место отводилось стремлению упорядоченности. Да и сам я еще был далек от возраста, когда человек уже ничего не хочет менять в своей жизни.

Я видел неопровержимое доказательство тому, что мое извечное, не поддающееся определению беспокойство передалось Соноко; возможно, только оно нас с ней и объединяло. Начав говорить, она уже не останавливалась. Я старался не слушать, но губы сами произносили какие-то пустые, ничего не значащие слова.

– Что с нами будет, если все это так и останется? – спрашивала Соноко. – Мы сами загоняем себя в угол, из которого уже не выбраться.

– Ну почему же. Я отношусь к тебе с большим уважением, и нам стыдиться нечего. Нормальные дружеские встречи, ничего особенного.

– Да, все правильно. До сих пор так и было, и я признаю, что ты вел себя как человек благородный. Но что будет дальше? Ведь я еще не сделала ничего плохого, а мне по ночам уже снятся всякие страшные, кошмарные сны. Это Господь карает меня за то, что произойдет в будущем.

Жесткое, неумолимое слово «будущее» заставило меня вздрогнуть.

– Если мы не остановимся, нам обоим будет плохо, – продолжала Соноко. – И тогда уже ничего не исправишь. То, чем мы с тобой занимаемся, называется «игра с огнем».

– Что ты имеешь в виду под «игрой с огнем»?

– Ну... разные вещи.

– Разве мы с огнем играем? В лучшем случае – с водой.

Она даже не улыбнулась. Всякий раз, когда в разговоре наступала пауза, Соноко плотно, добела сжимала губы.

– Мне начинает казаться, что я нехорошая, страшная женщина с больной психикой. Я замужем и даже во сне не должна думать о других мужчинах. Ведь я решила осенью совершить обряд крещения.

Соноко, должно быть, сама плохо понимала, что говорит, полуопьяненная звуком собственного голоса. В ее вялом, многословном признании я уловил подсознательную, по-женски парадоксальную потребность говорить вещи, которых говорить нельзя. Но у меня не было права ни радоваться, ни печалиться по этому поводу.

На что я мог претендовать, от чего мог отказаться – ведь я даже ничуть не ревновал Соноко к ее мужу. Поэтому я просто молчал. Меня повергал в отчаяние вид собственных рук, слабых и мертвенно-бледных, несмотря на летнее солнце.

– А сейчас? – спросил я.

– Что «сейчас»? – Соноко потупила взор.

– О ком ты думаешь сейчас?

– О муже, конечно...

– Чего же тебе тогда бояться? Можно и без крещения обойтись.

– Нельзя... Мне страшно. До дрожи страшно.

– И сейчас?

– Сейчас?..

Соноко подняла на меня свои серьезные глаза, и я прочел в них вопрос – только не знаю, к кому он был обращен. Никогда в жизни не видел ничего прекраснее этих глаз – глубоких, немигающих, покорных судьбе. Звонким и чистым ключом в них било неподдельное чувство. Я окончательно утратил дар речи. Порывисто наклонился через стол и ткнул в пепельницу только что зажженную сигарету. Узкая ваза с цветами опрокинулась и залила скатерть водой.

Пришел официант, навел на столе порядок. Смотреть, как он вытирает тряпкой вымокшую скатерть, было неприятно. Нам с Соноко сделалось тоскливо. Мы воспользовались этим маленьким происшествием, чтобы пораньше уйти. На улице меня охватило раздражение: там было шумно илюдно, по тротуару прогуливались влюбленные парочки – крепкие, здоровые, с обнаженными руками. Мне казалось, что я презираем всеми и каждым. Презрение обжигало мою кожу горячее летнего солнца.

Еще тридцать минут, и мы расстанемся. Внезапно мне захотелось раскрасить эти последние полчаса густыми и яркими масляными красками. Не знаю, что мною владело – то ли горечь расставания, то ли нервное возбуждение, отчасти напоминавшее порыв страсти. Мы как раз проходили мимо танцевального зала – из репродукторов неслись бешеные звуки румбы. Я вспомнил строчку из какого-то стихотворения:

...И танец этот нескончаем.

Как дальше – забыл. Кажется, это из Андре Сальмона. Я предложил Соноко полчаса потанцевать, и она согласилась, хоть никогда прежде в подобных заведениях не бывала.

Танцплощадка была переполнена, – наверное, многие служащие из близлежащих контор приходили провести здесь обеденный перерыв и не очень торопились обратно на службу. В лицо нам ударила горячая волна. Вентиляция почти не работала, тяжелые шторы были опущены, чтобы не проникал солнечный свет, и в зале царил влажная духота, а в лучах прожекторов густым туманом плясали пылинки. Какого рода публика тут собирается, стало ясно сразу – стоило лишь вдохнуть запах пота, плохих духов и дешевой помады. Я уже пожалел, что привел Соноко в такое место. Но отступить было поздно, и хочешь не хочешь пришлось пробираться сквозь танцующую толпу.

Вентиляторы вращали лопастями так лениво, что не возникало ни малейшего движения воздуха. Парни в гавайских рубашках и наемные танцовщицы отплясывали румбу, прижимаясь друг к другу потными лбами. Грим и пудра на лицах девушек сбились комками и стали похожи на воспаленную сыпь. Платья вымокли от пота, вид у них был еще более омерзительный, чем у давешней скатерти. Тут обливались потом все – и танцующие, и нетанцующие. Дыхание Соноко стало частым и прерывистым.

Мы решили выйти подышать свежим воздухом. Арка, украшенная потрепанными искусственными цветами, вывела нас во двор, и мы сели на грубые стулья. Здесь действительно воздух был почище, но от раскаленного солнцем бетонного пола даже в тени

исходил невыносимый жар. Во рту стоял клейко-сладкий вкус кока-колы. Мне показалось, что Соноко тоже ощутила гнет презрения, которое обрушивал на нас окружающий мир. Мы оба сидели и молчали. Молчание давило на нас все сильнее, и мы стали озираться по сторонам.

У стены стояла, уныло обмахиваясь платочком, раскормленная девица. Оркестр яростно заиграл квик-степ. Посреди двора стояли горшки с какими-то чахлыми, кривыми растениями. Никто из вышедших передохнуть не отважился сесть на солнце, зато все стулья, расположенные в тени, были заняты.

Впрочем, нет – двое парней со своими подружками уселись на самом солнцепеке и, не обращая внимания на зной, принялись болтать и гоготать. Одна из девушек неумело курила, картинно отставив пальцы и давясь кашлем после каждой затяжки. И она, и ее приятельница были одеты в нелепые платья без рукавов, явно перешитые из летних кимоно. Руки у девушек были обветренные, словно у рыбаков, и в комариных укусах. Каждую из незамысловатых шуток своих кавалеров подружки встречали залившимся хохотом. Казалось, этой компании совершенно не мешает жар солнечных лучей, изливавшийся прямо на их головы. Один из парней был в гавайской рубашке, с бледным недобрим лицом и мощными ручищами. На губах его блуждала похабная улыбочка. Он то и дело шутливо тыкал свою соседку пальцем в грудь, что всякий раз вызывало у нее новый взрыв веселья.

Но мое внимание привлек не он, а второй – смуглый юноша лет двадцати двух, с грубоватыми, но правильными чертами лица. Он снял рубашку и обматывал вокруг талии посеревший от пота широкий матерчатый пояс. Парень проделывал это медленно и тщательно, что не мешало ему участвовать в общем разговоре и хохотать вместе с остальными. Голая, бугристая от мускулов грудь была посередине рассечена глубокой ложбиной, тянувшейся вниз, через весь живот. Рельефные полосы мышц, горизонтально прочерчивавшие тело, напоминали толстые канаты. Каждый новый слой грязной ткани стягивал этот горячий и гладкий торс все туже и туже. Загорелые плечи сияли так, словно их обмазали маслом, а из подмышек выбивались густые черные волосы, отливавшие золотом в ярком солнечном свете.

При виде этого парня – особенно когда я разглядел на его груди татуировку в виде пиона – меня охватил неистовый порыв чувственности. Плавающим взглядом я впился в варварски грубое, неизъяснимо прекрасное тело. Юноша запрокинул голову к солнцу и расхохотался. Я увидел могучие мускулы его шеи и весь затрепетал, не в силах оторвать глаз от этого зрелища.

О Соноко я забыл и думать – мои мысли были заняты совсем другим. Я воображал, как парень идет полуголый по залитой солнцем улице, встречает врагов из соперничающей банды и получает удар острым ножом в живот. По грязному полотняному поясу расплывается красивое пятно крови. Потом окровавленное тело кладут на снятую с петель дверь и приносят сюда, к танцзалу...

– Осталось пять минут, – раздался тонкий и печальный голос Соноко.

Я удивленно обернулся.

В этот момент что-то, находившееся внутри меня, с неистовой силой расколосось надвое. Так упавшая с неба молния раскалывает живое дерево. Я явственно услышал грохот – это рассыпалось здание, возведенное мной в душе с таким тщанием и трудом. Один миг – и моя жизнь превратилась в какое-то ужасающее небытие. На минуту зажмурив глаза, я заставил себя вспомнить о холодном как лед чувстве долга.

– Всего пять минут? Зря я тебя сюда привел. Ты на меня не сердись? Такой женщине, как ты, не место среди этой вульгарной публики. Я слышал, что администрация этого танцзала не сумела договориться с местными бандами, и сюда повадилась ходить всякая шпана, не платя за вход.

Но в отличие от меня Соноко и не взглянула на парней и их подружек. Ее с детства приучили не видеть того, на что барышне и даме смотреть не полагается. Рассеянный взгляд Соноко был устремлен на потные спины тех, кто стоял и наблюдал за танцующими.

Мне показалось, что здешняя атмосфера произвела какую-то неуволвимую химическую реакцию в сердце Соноко, на детских губах которой появилось предвестие улыбки. Она как бы заранее радовалась тому, что сейчас скажет.

– Слушай, а можно тебе задать один смешной вопрос? У тебя вообще было? Наверняка ведь было, правда?

Я ощутил невероятную усталость. Но сработала какая-то уцелевшая душевная пружина, заставившая меня быстро ответить:

– Конечно... К моему глубокому сожалению.

– А когда?

– Прошлой весной.

– С кем?

Меня поразила наивная изысканность этого вопроса. Соноко и в голову не пришло, что я мог иметь связь с кем-то из женщин не ее круга.

– Имени назвать не могу.

– Ну скажи, с кем!

– Не спрашивай.

В моем голосе неожиданно прозвучала такая неподдельная мольба, что Соноко обескураженно замолчала. Я думал только об одном – лишь бы она не заметила, каким бледным стало мое лицо.

Но пришло время расставаться. Из динамиков лились звуки слащавого и сентиментального блюза, обволакивая нас и не давая пошевелиться. Наконец мы оба почти одновременно взглянули на часы.

Было уже действительно пора. Я встал и обернулся к стульям, стоявшим на солнцепеке. Там никого не было – очевидно, парни со своими подружками ушли танцевать. На столике осталась лужица от пролитого напитка, грозно и ослепительно сверкавшая в лучах солнца.